

A NOVEL FROM *THE NEW YORK TIMES* BESTSELLING
AUTHOR OF *THE POWER*

now a
major motion
picture

disobedience

naomi alderman

LOVE IS AN ACT OF DEFIANCE

"Disobediencе" - дебютный роман британской писательницы Наоми Алдерман, опубликованный в 2006. Ронит Крушка, 32-летняя еврейка, ушедшая с пути ортодоксального иудаизма, работает в Нью-Йорке финансовым аналитиком и крутит роман с боссом. После смерти отца, влиятельного раввина в Лондоне, она возвращается домой и возмущает своим поведением местную ортодоксальную общину. Обнаружив, что ее двоюродный брат Довид женат на ее бывшей любовнице Эсти, она решает переосмыслить то, что оставила позади.

===== Глава первая =====

Глава первая

И в Субботу священник поет песню за еще не наступившее будущее, за тот день, когда наступит вечная Суббота и спокойствие вечной жизни.

Мишна Тамид 7:4, читается во время Субботней утренней службы

К тому времени, когда наступил первый Шаббат после праздника Симхат Тора, Рав Крушка сделался таким тонким и бледным, что, бормотали прихожане, во впадинах его глаз виднелся тот свет.

Рав провел их через дни праздников и твердо стоял на ногах во время двухчасовой службы в конце поста на Йом Кипур, хотя его глаза не раз закатывались кверху, будто он вот-вот упадет в обморок. Он даже радостно танцевал со свитками на Симхат Тора несколько минут. Но сейчас, когда святые дни подошли к концу, его жизненная энергия покинула его. В этот знойный, переспелый сентябрьский день закрытых окон и капелек пота на бровях у каждого из прихожан, Рав, облокотившись о руку своего племянника, Довида, был укутан в шерстяное пальто. Его голос был слаб. Его руки тряслись.

Ситуация была ясна. Она была ясна уже долгое время. В течение нескольких месяцев его голос, некогда богатый, как красное вино для кидуша, стал сиплым, и часто в нем прорывался кашель и удушье. И все же трудно было поверить в небольшую тень на рентгеновском снимке легких. Кто видел эту тень? Что это за тень? Община не могла поверить, что Рав Крушка мог поддаться какой-то тени - казалось, что от света Торы он сиял так ярко, что они тоже подсвечивались его присутствием.

По общине разлетелись слухи. Специалист с Харли Стрит сказал ему, что он поправится, если отдохнет месяц. Знаменитый Реббе сообщил, что он и пятьсот его учеников читают по книге псалмов в день за выздоровление Рава Крушки. Говорили, Рав видел пророческий сон о том, что он доживет до того момента, когда будет уложен первый камень Бейт ha-Микдаш, Святого Храма в Иерусалиме.

И все же с каждым днем он становился все более хилым. Весь Хендон и его окрестности знали о его падающем здоровье. Те прихожане, которые частенько пропускали неделю в синагоге и посещали службы в других местах, вдруг стали набожными. Каждую неделю приходило больше людей, чем в предыдущую. Неуклюжая синагога – сделанная из двух домов, присоединенных друг к другу, - не была предназначена для такого количества людей. Во время служения воздух становился несвежим, температура – еще более высокой, а запах – почти зловонным.

Пару членов совета синагоги предложили организовать отдельное служение для присоединившихся. Д-р Ицхак Хартог, президент совета, отклонил это предложение. Эти люди пришли увидеть Рава, он заявил, поэтому да будет так.

Итак, на первый Шаббат после Симхат Тора, синагога была переполнена, а члены общины были более сосредоточены на Рава, чем на молитвах, с которыми они обращались к Создателю. Они беспокойно наблюдали за ним все утро. Довид и правда находился рядом со своим дядей, поддерживая его сидур и правый локоть. Но, кто-то пробормотал соседу, возможно, присутствие такого человека скорее препятствует, чем поможет выздоровлению? Довид был раввином, это было известно всем, но он был не Рав. Различие было едва заметным, но все же раввином можно стать путем учебы и достижений, а титул Рава присваивался общиной многоуважаемому лидеру, ученому непревзойденной мудрости. Рав Крушка без сомнений был именно таким. Но разве Довид когда-нибудь выступал на публике, или давал великолепную двар Тора, или хотя бы писал вдохновляющие книги, как это делал Рав? Нет, нет и нет. Довид был неказистый с виду: небольшого роста, лысеющий, немного полноватый, но в нем, вдобавок, не было такого духа, как у Рава, не было такого огня. Ни один представитель общины, даже маленький ребенок, не обратился бы к Довиду Куперману «Раввин». Он был «Довид», а иногда просто «тот племянник Рава, тот помощник». А его жена! Видно было, что что-то не так у Эсти Куперман, что была какая-то проблема, какое-то беспокойство. Но этот вопрос попадал под название лашон ха-ра – «злой язык» - и не может обсуждаться в священном доме Властелина.

В любом случае, Довида считали неподходящей поддержкой Рава. Рав должен быть окружен большими знатоками Торы, которые учатся днем и ночью, и этим предотвратят злой божий указ. Жаль, некоторые говорили, что у Рава нет сына, который бы поучился в его заслугу, и Рав удостоился бы долгой жизни. А еще жаль, говорили другие, потише, что у Рава нет сына, который сам станет Равом, когда тот уйдет. Ведь кто займет его место? Эти мысли циркулировали уже несколько месяцев, становясь более различимыми в сухой жар синагоги. Чем больше энергия Рава отделялась от него, тем больше Довид также с каждой неделей становился все более согнутым, будто чувствуя, как их тяжелые взгляды взгромоздились к нему на плечи, а сила их разочарованности давила ему на грудь. Он почти не поднимал глаз во время службы и ничего не говорил, лишь переворачивая страницы сидура и занимая свое внимание только словами молитвы.

К полудню всем прихожанам стало ясно, что Рав выглядел хуже, чем раньше. Они вытягивали шею, чтобы лучше его наблюдать. Во время утренней службы Шахарит, помещение становилось все теплее и теплее, и каждому мужчине было известно, что его тело начало прилипать к сиденью через костюм. Рав наклонился во время Модим, потом выпрямился снова, и его рука, которой он держался за скамейку впереди него, была белой и дрожала. Лицо его, будучи четким, дрогнуло в гримасе.

Даже женщины, наблюдавшие служение с верхнего балкона, построенного вдоль трех стен помещения, выглядывали из-за занавесок и видели, что силы Рава почти иссякли. Когда арон открылся, свитки Торы пустили душистый кедровый аромат, что, вероятно, пробудило его, и он встал на ноги. Но когда дверца закрылась, он сел, но это движение больше напоминало подчинение гравитации, чем попытку сесть. Когда глава Торы была наполовину прочитана, каждый участник общины жадно вслушивался в каждый болезненный, скребущий вздох Рава Крушки. Если бы не Довид, Рав бы уже давно упал на месте. Это видели даже женщины.

Эсти Куперман наблюдала за служением из женского балкона. Каждую неделю для нее было зарезервировано почетное место в переднем ряду около занавески. На самом деле, передний ряд никогда не был занят, даже в такое время, когда каждое место кому-то нужно. Женщины более охотно стояли в задней части балкона, чем занимали места в переднем ряду. Каждую неделю Эсти сидела одна, ни разу не повернув шеи, ни разу не показав словом или взглядом, что она заметила пустые места с обеих сторон от нее. Она занимала место в переднем ряду, потому что это так было положено. Она – жена Довида. Довид сидел рядом в Равом. Если бы жена Рава не скончалась, Эсти бы сидела рядом с ней. Когда, с Божьей помощью, они будут награждены детьми, они будут сопровождать Эсти. А сейчас она сидела одна.

В задней части женского отделения ничего не было видно. До женщин, сидящих и стоящих там, доносились только мелодии. А вот Эсти могла наблюдать макушки голов, каждая из которых была покрыта овалом шляпы или украшена круглой кипой. Со временем шляпы и кипот стали для нее индивидуальными, и в каждой отображалась другая личность. Вот Хартог, президент совета, плотный и мускулистый, ходит туда-сюда даже во время службы и то и дело перекинется словом с другим прихожанином. А вот Левицкий, казначей синагоги, нервно раскачивается во время молитвы. Вот Киршбаум, один из исполнительных директоров, облокотился о стенку и постоянно то дремлет, то вздрагивает и просыпается. Она чувствовала какую-то разобщенность. Временами, смотря вниз, она как будто видела игру на шахматной доске: фигурки двигались целенаправленно, но без смысла. Когда-то ее часто убаюкивали знакомые мелодии снизу, и она едва замечала, как служба заканчивалась, и очень удивлялась, когда женщины начинали толпиться вокруг нее и желать ей: «Гуд Шаббес». Пару раз она стояла в синагоге, вроде уже пустой, и боялась развернуться из страха, что женщины шепчутся за ее спиной.

На этот же шаббат она себя сдерживала. Как и остальные в общине, она сидела, когда свитки Торы, одетые в королевский бархат, возвращали в арон. Как и остальные, она терпеливо ждала, пока ведущий служения Шахарит уступит место ведущему следующего служения, Мусаф. Как и остальные, она была озадачена, когда Мусаф не начался спустя пять минут. Она пыталась разглядеть через шторку, что происходит внизу. Она моргнула. Под руку с ее мужем, сторбленная фигура Рава, облаченная в черное пальто, пробиралась к биме, платформе, с которой велось служение.

Раньше, в этот момент служения, Рав рассказывал общине о только что прочитанной главе Торы, вплетая ее и другие источники в красивый и замысловатый урок. Но с тех пор прошло много месяцев. В этот момент Рав был недостаточно силен, и все же Эсти услышала, как в синагоге поднялся шелест голосов, а вскоре затих. Рав будет говорить.

Рав поднял руку, тонкую и бледную в огромном рукаве его пальто. Когда он говорил, его голос был неожиданно силен. Он всю жизнь был оратором; его голос можно быть поймать, не напрягаясь.

- Я буду говорить, - сказал он, - но совсем немного. Мое здоровье ухудшилось. С Божьей помощью, я поправлюсь. – В комнате случился энергичный взрыв кивков; несколько человек хлопнули, и хлопки быстро стихли, потому как театральным аплодисментам в синагоге было не место.

- Речь, - сказал он. – Если бы сотворенный мир был музыкальным произведением, речь была бы его припевом, повторяющейся темой. В Торе говорится, что ha-шем создал мир при помощи речи. Мы могли бы прочитать: «И Бог подумал про свет, и был свет». Нет. Он мог

бы вылепить его из глины. Или выдохнуть его. ha-шем, наш Царь, Святой, Благословен Он, не сделал ничего из этого. Чтобы создать мир, Он говорил. «И Бог сказал, да будет свет, и был свет».

Рав запнулся, закашлялся, и его грудь издала нездоровый звук. Несколько мужчин попытались подобраться к нему, но он жестом показал им, что не стоит этого делать. Он опирался на плечо Довида, резко откашлялся три раза и замолк. Он тяжело вздохнул и продолжил.

- Сама тора. Книга. ha-шем мог дать нам картину, скульптуру, лес, создание, идею в наших умах, чтобы с помощью этого объяснить свой мир. Но Он дал нам книгу. Слова.

Он остановился и осмотрел зал, сканируя безмолвные лица. Когда пауза затянулась длиннее, чем стоило, Рав поднял руку и громко ударил ей по трибуне.

- Какую великую силу дал нам Всемогущий! Говорить, как говорит и Он! Удивительно! Из всех земных созданий только мы можем разговаривать. Что это значит?

Он едва заметно улыбнулся и снова оглядел комнату.

- Это значит, что у нас есть сила ha-шема. Наши слова реальны: они могут создавать миры и разрушать их. Их края остры, как у ножа. – Рав изобразил рукой стремительное движение, как будто орудовал косой. Он улыбнулся. – Конечно, наша сила не такая же, как у ha-шема. Это тоже не стоит забывать. Наши слова не просто пустое дыхание, но они не Тора. В Торе содержится наш мир. Тора и есть наш мир. Не забывайте, дети мои, что все наши слова, все наши истории могут сравняться в лучшем случае лишь с комментариями к одному стиху Торы.

Рав повернулся к Довиду и прошептал несколько слов. Двое мужчин вместе прошли от бимы к своим местам. Община затихла. Наконец, собравшись, хазан начал молиться Мусаф.

Слова Рава, очевидно, повлияли на хазана, ведущего молитвы, потому что он, казалось, уделял особое внимание каждой букве, каждому слогу каждого слова. Он говорил медленно, но четко и с силой, как будто он впервые слышал и оценивал слова. «Мехалкель хаим бехесед», - сказал он. («Он поддерживает все живое своей добротой, по великому милосердию Он возвращает мертвых к жизни.») Община отвечала тем же, пока ответы не стали громче и не слились в один голос.

В тот момент, когда все потянулись к Всемогущему на цыпочках, раздался такой звук, будто упал один из могучих ливанских кедров. Мужчины обернулись, женщины вытянули шеи. Община лицезрела, как Рав Крушка лежал на боку около своего места. Он издал длинный стон, но в его теле не было движения, кроме левой ноги, которая дергалась и гулко ударяла по деревянной скамье.

Хартог первый подбежал к Раву, оттолкнув Довида в сторону. Он ослабил галстук Рава и, взяв его руку, прокричал:

- Вызовите скорую!

Остальные мужчины на секунду выглядели озадаченными. Сами слова «вызовите скорую», звучавшие в синагоге Рава на Шаббат, казались нереальными; как будто у них попросили ломтик ветчины или кусок креветки. Момент спустя двое молодых людей побежали к двери за телефоном.

Наверху Эсти Куперман стояла смирно, в то время как некоторые другие женщины уже неслись вниз посмотреть, чем можно помочь.

Эсти смотрела, как ее муж взял руку своего дяди и поглаживал ее, как будто этим пытаясь успокоить пожилого мужчину. Она заметила, что волосы Довида с того ракурса

выглядели тоньше, чем ей виделось раньше. Какая-то часть нее почти неосознанно заметила, что Хартог уже покинул Рава, передав заботу о нем другим членам общины. Что он отвел троих или четверых мужчин в сторону и завел с ними разговор. Она посмотрела на собственные костлявые пальцы с побелевшими ногтями, обвернувшиеся вокруг сидура.

Эсти была изнурена и не могла двигаться. Довид поднял голову к женскому балкону, посмотрел на ее обычное место и прокричал: «Эсти!» - жалобно, испуганно. Эсти ринулась к двери на лестницу. Она едва различала, что некоторые женщины дотрагивались до нее, тянули к ней руки, чтобы... Погладить? Успокоить? Она не знала. Она продолжала идти к выходу, думая лишь о том, что она обязана идти, что ей нужно что-то сделать.

И только лишь когда она бежала вниз по лестнице в мужское отделение, в ее голове проснулась мысль – мысль одновременно шокирующая и радостная, мысль, за которую ей мгновенно стало стыдно. Она мчалась вниз по лестнице, и ритм ее шагов отдавался эхом ее повторяющейся мысли: «Если все так, то Ронит вернется домой. Ронит вернется домой».

Прошлой ночью мне снился он. Нет, правда. Я узнала его по его словам. Мне снилась огромная комната, полная книг, от пола до потолка, с полками, тянувшимися так далеко, что чем дальше я смотрела, тем очевиднее становилась ограниченность моего зрения. Я поняла, что книги, как и слова, были всем, что всегда было и всегда будет. Я начала идти; мои шаги были беззвучны, и, посмотрев вниз, я увидела, что ходила по словам, что стены, и потолок, и столы, и лампы, и стулья – все это были слова.

Я продолжила идти, и я знала, куда иду и что найду. Я подошла к длинному, широкому столу. Стол, было написано на нем. Я – стол. Все, чем я когда-либо являлся или когда-либо буду, - это стол. На столе была книга. А книга была им. Я узнала его по его словам. Честно говоря, я бы узнала его, будь он лампой, или растением в горшке, или масштабной моделью Лонг-Айленд Экспрессвей. Но, как и следовало, он был книгой. Слова на обложке были простые, хорошие слова. Я не помню какие.

И, как это обычно бывает во сне, я знала, что должна открыть книгу. Я протянула руку, открыла ее и прочла первую строчку. Пока я ее читала, слова раздавались эхом по всей библиотеке. Было написано, как Бог сказал Аврааму: «Ты выбран Мною. Оставь эту землю и иди в другое место, которое я тебе покажу!»

Ладно, последнюю часть я выдумала. Но все остальное было на самом деле. Я проснулась с головной болью, которой у меня никогда не бывает, но на мой череп как будто ночью кто-то уронил словарь. Мне пришлось принять долгий горячий душ, чтобы прогнать слова из головы и ослабить напряжение в плечах, а когда я закончила, я, конечно же, опаздывала на работу. Поэтому я шла, нет, скорее, маршировала по Бродвею в поисках такси, которое можно найти только когда оно тебе не нужно, и неожиданно услышала голос, как будто говорящий мне прямо в ухо:

- Извините, Вы еврейка?

И я остановилась, почти подпрыгнула, потому что это было близко и так неожиданно. Особенно в Нью-Йорке, где и так все евреи. Я повернулась посмотреть, кто это был, и попала на самый старый трюк, потому что это был парень в костюме, с аккуратно постриженной бородой и стопкой флаеров, очевидно, нужных для того, чтобы записывать некоторых евреев в его религию стопроцентного высшего качества.

Бедный парень. Правда. Потому что я опаздывала и уже была в плохом настроении. И еще этот сон. Обычно я просто проходила мимо, но иногда утром так и хочется с кем-то поссориться. Я сказала:

- Я еврейка. А что?

Конечно, я сказала это с Британским акцентом, что тотчас его озадачило. С одной стороны, он хотел сказать: «Эй, ты британка!», потому что он американец, и они любят мне это говорить. А с другой стороны, Бог ободряюще шептал ему на ухо: «Мой друг, ты можешь привлечь эту женщину к праведности». Парень собрался с духом. Спасение душ, покорение миров:

- Можно заинтересовать вас бесплатным семинаром по еврейской истории?

Точно. Конечно. Он был одним из тех. Продавал не новую религию, а старую; возвращал людей обратно к вере. Бесплатные семинары по еврейской истории, трапезы в пятницу вечером, немного разговоров о Торе. Что ж, наверное, это работает с людьми, никогда не имевшими такого опыта. Но это не я. Черт, да я могла бы сама всем этим руководить. Я сказала:

- Нет, спасибо, я сейчас очень занята.

Я почти развернулась и зашагала дальше, когда он дотронулся до моего рукава, просто провел по нему ладонью, как будто хотел пощупать материал моего пальто, но этого было достаточно, чтобы слегка меня напугать. Я уже жалела, что это не Любавический мальчик, чей пот и отчаяние слышно за метр и кто никогда бы не дотронулся до женщины. Короче, мой парень протянул листовку и сказал:

- Мы все очень заняты. Сегодня все движется быстро. Но ради нашего древнего наследия стоит выделить время. Возьмите флаер. Наши программы проходят по всему городу, можете прийти когда хотите.

Я взяла флаер. Поглядела на него секунду, собираясь пройти дальше. А потом я посмотрела на него чуть дольше, просто стоя там. Мне пришлось прочитать его снова и снова, пытаюсь понять, на что я смотрю. На ярко-желтом стикере спереди было написано: «В понедельник вечером – особый семинар: Рабби Тони расскажет о книге Рава Крушки “День за днем” и о том, как применять ее уроки в нашей жизни». Я имею в виду, я знала, что он написал книгу, но когда она попала сюда? С каких пор у него есть уроки, помогающие в жизни? Когда этим начали интересоваться люди, называющие себя «Рабби Тони»?

Я ткнула пальцем в желтый стикер и сказала:

- Что это?

- Вас интересует Рав Крушка? Это чудесная презентация. Про самое сердце его учений. Очень интересно.

Бедный парень. Он не виноват. Совсем нет. Я сказала:

- Как тебя зовут?

Он широко улыбнулся.

- Хаим. Хаим Вайсенбург.

- Что ж, Хаим. Для чего именно ты это делаешь?

- Это?

- Это, стоишь на углу улицы, раздаешь флаеры прохожим. Тебе за это платят? Ты должен кому-то денег? Они угрожают сломать тебе ноги?

Хаим моргнул.

- Нет. Нет, я волонтер.

Я кивнула.

- Так ты делаешь это по доброте сердечной?

- Я делаю это, потому что верю, что это правильно. Наше наследие...

Я его перебила:

- Да. Наследие. Только ты тут не наследие продаешь, не так ли, Хаим? А религию.

Он широко развел руками, немного взволнованно.

- Я бы не сказал, что продаю, скорее...

- Ты бы не сказал, что продаешь? Но разве ты ничего не получаешь взамен за раздачу всей этой религии? – Он пытался говорить, но я продолжила: - Разве ты, Хаим Вайсенбург, не получаешь особое место в будущем мире, если отловишь парочку блуждающих евреев? Это ли не то, ради чего ты это делаешь? Выгода? Смирись с этим, Хаим, ты в этом только ради самого себя, не так ли?

Теперь он злился.

- Нет. Нет, совсем не так. Все не так. Бог нам приказал...

- А-а. Ладно. Подбираемся к главному. Бог тебе приказал. Бог говорит тебе что делать, и ты тут же за это берешься. Ты это делаешь, потому что думаешь, что этого хочет Бог, так? Бог хочет, чтобы ты нашел блуждающих евреев и вернул их в загон для овец?

Хаим кивнул. Несколько людей повернули головы, когда проходили мимо, но никто не остановился.

- Итак, предположим, Бог и правда приказал тебе это сделать. А ты когда-нибудь задумывался, Хаим, что некоторые из нас не хотят, чтобы их возвращали? Некоторые из нас не хотят, чтобы их находили? Некоторые из нас уже были в этом загоне для овец и сочли его узким, ограниченным и больше похожим на тюрьму, чем на безопасное убежище. Ты когда-нибудь задумывался, Хаим, что, может, Бог не прав?

Хаим открыл рот и снова закрыл. Думаю, было очевидно, что я не приду ни на какой семинар. Я порвала флаер и кинула в него, как конфетти. Признаю, я королева драмы.

Когда я добралась до метро, я обернулась посмотреть на него, и он все еще пялился на меня с флаерами в руке.

Д-р Файнголд говорит, что мне надо работать над «ощущением своих чувств», ради чего я должна признать, что старик Хаим задел меня больше, чем я ожидала. Я все еще думала о нем и обо всех тех, кто выстроится в очередь, чтобы посетить семинар по «урокам от Рава Крушки», когда добралась до работы. Я продолжала думать об этом в течение рабочего дня, что для меня довольно необычно. Мне обычно нравится, как работа вытесняет все лишние мысли у тебя из головы. Я работаю финансовым аналитиком. Эта работа занимает весь мозг, что находится у меня в голове. Думаю, большинство из нас этого хотят, не правда ли? Задачу, которая именно настолько сложная, чтобы с ней можно было справиться, и чтобы она забрала все наши силы. Чтобы не осталось места для сомнений, волнений, внутренних кризисов. Чтобы она заполнила нас, потому что только так можно справиться с работой. Д-р Файнголд говорит: «Чтобы не оставалось времени думать, Ронит?» и она, наверное, права, но, возможно, самоанализ переоценен. Короче, мне нравится моя работа, она хорошо у меня получается. Мне дали новый контракт, который требует полной концентрации, если ты не хочешь случайно поместить миллион долларов не туда, и все же Хаим был в моей голове весь день. Я представляла его на улице, как он раздает свои флаеры. Некоторые люди пройдут мимо, некоторые возьмут. А из тех кто-то позвонит, а из этих кто-то в конечном итоге окажется на этом семинаре. На Хаиме был костюм. Листовки были глянцевые. Наверное, они успешны. Наверное, сотни овец, спотыкаясь, возвращаются в свой загон. Меня расстраивает, немного, когда я думаю об этом бизнесе, об отношении расходов и продаж и о возможных возвратах.

И, да-да, д-р Файнголд, возможно, сказала бы, что думать об этом – это всего лишь способ не думать о других вещах, но, знаете, иногда я слишком умна даже для самой себя.

Я допоздна осталась на работе, пытаюсь закончить то, что не успела за день, но, конечно, этого не случилось, потому к концу дня ты уже уставший, и работа бы только заняла дольше. В конце концов я заметила, что в нашем отделе остались только я и Скотт, и я подумала, что скоро он подойдет и заговорит со мной – или нет. «Или нет» было бы еще более неловким, поэтому в девять часов я пошла домой. Не пожелав ему спокойной ночи.

Мысли о Хаиме и Рабби Тони неизбежно привели к мыслям про Лондон, а они никогда не бывают хорошими. Когда я вернулась, затемно, я поняла, что сегодня вечер пятницы, а это осознание тоже никогда не бывает хорошим. Я начала думать о матери, было одно различимое воспоминание о ней, наверное, потому, что это случалось часто: в пятницу вечером она зажигала свечи в тех огромных серебряных подсвечниках, покрытых серебряными листьями и цветами.

И я знала, что плаксивее уже не станет. И я совершенно не была настроена на размышления о том, что никто больше никогда не любил меня по-настоящему, так что я прилично себе налила и отправилась с книгой в постель.

В ту ночь мне не снился никто и ничего, и это было идеально. Когда я проснулась, было уже поздно. Я прошла пешком до Музея Естественной Истории на семьдесят девятой улице, но к тому времени, как я там оказалась, он уже закрылся, а сидеть в парке было слишком холодно. Я могла бы позвонить кому-то, договориться сходить куда-то на ужин, сходить в кино, но я этого не сделала; просто смотрела, как проходит остаток дня.

В восемь часов уже как час было темно, и я подумывала заказать еду на дом, и вдруг звонит телефон. Я подняла трубку, и на другом конце воцарилась тишина, а потом послышалось дыхание. Я знала, что это Довид, еще до того, как он молвил слово. Он всегда так делал, когда звонил по телефону – тишина. Как будто решает, будешь ли ты все же рад его голосу.

Так что, когда он говорил: «Алло, это Ронит?», у меня уже были придуманы остроумные замечания насчет того, какой его звонок необычный и неожиданный. Я уже вооружилась доспехами, чтобы ни одно его слово не смогло застать меня врасплох.

- Ронит? Это ты?

Я поняла, что так ничего и не сказала.

- Это она. – О боже. Как по-американски.

- Ронит? – Он все еще не был убежден.

- Да, это Ронит. Кто звонит? – Я не собиралась упускать случая над ним поиздеваться.

- Ронит, это Довид.

- Привет, Довид, чем могу помочь? – Мой голос звучал радостно, как будто с нашего последнего разговора прошло шесть недель, а не шесть лет.

- Ронит, - сказал он снова. – Ронит...

Только тогда, слушая, как Довид не может сказать ничего, кроме только лишь моего имени, я начала думать: что за землетрясение случилось за несколько тысяч миль отсюда, что Довид так неожиданно позвонил. Это не звонок перед Новым Годом или Пасхой, а обычный звонок в субботу вечером. И я, конечно, подумала. Потому что совпадений не бывает.

- Ронит, - повторил Довид.

- Довид, что случилось?

Довид сделал глубокий вдох и сообщил, что мой отец мертв.

===== Глава вторая =====

Глава вторая

Он посылает ветер и дождь. Он поддерживает все живое своей добротой и по великому милосердию возвращает мертвых к жизни.

Из Амиды, читается каждый вечер, утро и день

Тора, как мы знаем, сравнивается с водой.

Без воды Земля была бы лишь сухой оболочкой, пересохшей и большой пустыней. Точно так же без Торы человек был бы лишь оболочкой, не знающей ни света, ни милосердия. Как вода дает жизнь, так и Тора приносит в мир жизнь. Без воды наши конечности никогда бы не знали свежести и успокоения. Без торы наши души никогда не знали бы спокойствия. Точно так же, как вода очищает, Тора тоже очищает все, к чему прикасается.

Вода приходит только от Всемогущего; это символ нашей внутренней зависимости от него. Стоит Ему задержать дождь на сезон, и мы больше не сможем стоять перед Ним. Таким же образом. Тора – подарок от Святого, Благословен Он; Тора в каком-то смысле сама содержит мир, это проект, по которому мир был создан. Если бы Тора не существовала всего мгновение, мир бы не просто исчез, а он никогда бы и не появился.

Мы не должны отделять себя от Торы, как и не должны лишать себя воды. Те, кто выпил от нее – будут жить.

Шаббат закончился час назад, и седовласый доктор отпустил тело Рава Крушки.

В коридоре синагоги среди членов совета шепотом проводился неотложный конгресс: президент Хартог, казначей Левицкий, секретарь Киршбаум, Ньюман и Риглер. Нужно было обсудить важный вопрос: кто займется подготовкой тела Рава к захоронению.

- Довид – глава Хевра Кадиша, - сказал Левицкий. – Он должен исполнить эту обязанность. Это не запрещено. Племянник может выполнить таһару в отношении своего дяди.

- Довид не захочет исполнить эту обязанность, - объявил Риглер. – Это немислимо. Мы возьмемся за работу.

- Нет, все правильно. – Лицо Левицкого дрожало от волнения из-за того, что он занимает позицию, отстаивает мнение. – Так будет более достойно. Должны же мы думать о достоинстве Рава.

Ньюман молчал, поглядывая то на одно лицо, то на другое в попытках предугадать, к какому консенсусу они придут.

Когда спор длился уже несколько минут, и лицо Риглера начало блестеть из-за пота, Хартог выпрямился и сказал:

- Не думаете ли вы, господа, что нужно спросить Довида? Я уверен, у него найдется мнение по этому вопросу. – Остальные мужчины замолчали. Они стояли, созерцая тишину в синагоге. Ньюман заговорил громким голосом:

- Что будет сейчас?

Хартог посмотрел на него.

- Сейчас? Сейчас мы должна подготовить Рава к похоронам.

- Нет, - сказал Ньюман. – Что будет сейчас? Когда его не стало.

Хартог кивнул.

- Бояться нечего, - сказал он. – Работа Рава продолжится. Его книги будут читать, его мысли будут жить в наших умах. Синагога продолжит свою работу. Все останется как есть.

Ничего не нужно менять.

Вопрос оставался невысказанным. Каждый знал это; это был тот самый вопрос, который мужчины уже неоднократно поднимали. На тихих собраниях, за шаббатными столами, шепотом по телефону эта тема поднималась и сразу же закрывалась. Было трудно и непочтительно ее обсуждать, пока Рав еще жил. А сейчас каждый из них жалел, что ему не хватило смелости высказать его, потребовать мнения, даже спросить Рава, как считал он сам. Для этой нерешительности было уже слишком поздно. Вопрос должен было быть отвеченным месяцами ранее.

Левицкий склонил голову, глядя на туфли:

- Кто поведет нас теперь, когда наш столп огня ушел?

Мужчины поглядели друг на друга. Вот оно. Ответа не было, по крайней мере, очевидного для них. Они смотрели друг на друга в тишине, поджав губы и сузив глаза.

Только Хартог улыбался. Он опустил руку на плечо Левицкого.

- Довид, - сказал он. – Довид нас поведет. Мы не будем спрашивать у него сегодня, конечно же. Но я с ним поговорю. Он нас поведет. Но сегодня нас заботит только таһара.

Даже если Хартог и видел, как мужчины переглянулись, то не подал виду. Он зашагал к двойной двери, ведущей в главное помещение синагоги. Сзади него Киршбаум бормотал:

- Довид?

Риглер кивнул и добавил:

- А его жена...

Эсти сообщили, что ее муж не вернется ночью, что он останется с Равом, чтобы утром совершить обряд таһары. Она собирала вещи в микву, как и планировала. Она чувствовала странную гордость за то, что ее действия продолжали назначенный путь, хоть и не были ей желанны. Она чувствовала, что это сулило о хорошем. Ничего не изменилось, схема ее жизни осталась прежней. Это говорило о том, что ничего не нужно было менять. Как любая обычная женщина, она готовилась вернуться в кровать к своему мужу.

Каждый месяц, когда женщина проливает кровь, она запрещена своему мужу. Они не могут вступать в супружеские отношения, соприкасаться и даже спать в одной кровати. Как только кровь прекращается, жена должна отсчитать семь чистых дней, как сказано в Торы, а по истечению чистых дней – посетить микву и погрузиться в дождевую, речную или морскую воду. Как только она окунулась в нее, она может возвращаться в кровать к мужу.

Миква – святое место. Наверное, даже более святое, чем синагога, потому что, как известно, когда строится община, первым делом стоит построить микву, а синагогу – потом. Как и многие святые вещи, миква – что-то личное. По этой причине женщины не разглашают день, когда посетили очищающие воды. По этой причине само здание построено так, чтобы ни одна женщина не увидела в микве другую. Несколько удобных ванных комнат ведут к центральной комнате с глубоким бассейном. Таким образом миква – место уединения женщины, ее мужа и Всемогущего.

В одной из ванных комнат миквы Эсти стояла перед зеркалом, критически рассматривая свое обнаженное тело. Она решила, что была слишком тонкой. С каждым годом она становилась все тоньше. Нужно что-то делать. Она почти каждую неделю принимала решение больше есть. Она украшала овощи сливочным маслом, а жареную картошку – куриным жиром. Она тушила блюда из риса на растительном масле и обжаривала рыбу в яйце и муке. Во время одной особенно старательной попытки она даже пыталась съесть на завтрак хлопья со сливками вместо молока. Но каким бы обильным ни

было блюдо, ее аппетит испарялся, как только она оказывалась за столом. Если она заставляла себя есть, живот награждал ее жалкой тошнотой.

Но, решила она, нужно попробовать снова. Она была уверена, что стала еще тоньше, чем была. Она перекрутила руку. Ее локоть казался оголенным крюком, торчащим и заброшенным. Она провела большим пальцем по туловищу, чувствуя выступающие ребра. Так дело не пойдет.

Она с силой подстригала ногти, так, что кончики пальцев болели. Она собрала обрезки и бросила их в мусорный ящик. Обернувшись в халат, она призвала сопровождающую и ступила на короткий проход, ведущий к бассейну с неподвижной водой. Она повесила халат на крючок и обнаженной спустилась по ступенькам в воду.

Когда Эсти только вышла замуж, она заходила в микву с чувством трепета. За день до свадьбы мама впервые сопровождала ее в микву. Это роль, обязанность матери - просветить свою дочь в сложных и деликатных вопросах семейной чистоты. Эсти, младшая из трех дочерей, была свидетельницей того, как мама сопровождала обеих сестер в собственный предсвадебный путь, уводя их бледными и взволнованными и возвращая два часа спустя с мокрыми волосами и мягкой улыбкой. Она представляла это, как секретный женский ритуал, как торжество. В какой-то степени так и было. Ее мать, маленькая, незаметная женщина, но в то же время человек огромной силы, показала ей, как постригать ногти и очищать их, чтобы не оставалось ни частички грязи. Она делала это деревянным наконечником; очищение было болезненным, но Эсти не жаловалась. Она наблюдала, как ее мама брала каждый палец, один за другим, и делала его чистым и святым.

Пока они стояли в ванной комнате и ждали, пока сопровождающая отведет их к бассейну с очищающей водой, мать Эсти перечисляла все еще не выполненные задания, отсчитывая их одно за другим на пальцах: проверить цветы, договориться с поставщиками трапезы, подшить низ платья, возвести цветочный барьер между мужской и женской сторонами. Эсти хотелось, чтобы ее мать перестала говорить об этих мелких заботах, и чувствовала вину за то, что ей этого хотелось. Наконец, мать заметила, что Эсти не участвует в обсуждении этих проблем, и тоже замолкла.

Мать взяла Эсти за руку и погладила ее кончиком пальца. Она улыбнулась самой себе секретной материнской улыбкой и, все еще держа руку Эсти, сказала:

- Тебе может сначала не понравиться. – Эсти молчала. Ее мать продолжила. – Для мужчин и женщин это по-разному. Но Довид... Он добрый парень. Просто... - Мать подняла взгляд на нее. – Будь к нему добра. Для мужчин это важнее, чем для нас. Не отталкивай его.

Эсти подумала, что поняла. Ей было двадцать один, и эти слова, описание ее обязанностей как жены, повисли на ней. В тот момент она представляла, будто поняла все, что от нее требовалось, и знала обо всех подводных камнях. Она торжественно кивнула в ответ на слова матери.

Когда сопровождающая отвела их в бассейн миквы, Эсти тайно обратилась к Всемогущему. Она сказала: «Пожалуйста, Создатель, очисти меня и сделай меня целой. Убери во мне все, что неприглядно тебе. Я забуду все, что я сделала. Я буду другой. Освяти мой брак и позволь мне быть такой же, как другие женщины». Она помнит, как заходила в микву, и ее кожа казалась пористой, и вода влилась в нее, как Тора, как жизнь. Она знала, что все будет хорошо.

Но в последние годы у нее лишь получалось выговорить первые слова ее молитвы. «Пожалуйста», - говорила она мысленно, когда заходила в воду, - «пожалуйста». Каждый раз

она хотела продолжить молитву, но не знала, о чем попросить.

Эсти поняла, что уже слишком долго стоит в воде неподвижно. Сопровождающая, женщина средних лет, смотрела на нее с любопытством. Эсти сделала вдох и окунулась в воду. Прижав колени к животу, она подскочила вверх, оторвав ноги от плитки. Она чувствовала, как струи воды стекали с волос по лицу.

По пути домой, теплая и с мокрыми волосами, Эсти думала о Довиде, находящемся с Равом, читающем псалмы, как он часто делал, прося о его выздоровлении. Она подумала, что, возможно, ошибалась насчет того, что ничего не изменилось; все было прежним, но все было другим. Довид читал те же псалмы, но за мертвеца, а не за живого. Она сходила в микву, чтобы очиститься для своего мужа, но теперь Ронит возвращается домой. Идя домой под убывающей луной, Эсти слабо ощущала смену течения.

Утром мужчины из Хевра Кадиша начали свою работу. Их было четверо: Левицкий, Риглер, Ньюман и сам Довид.

Довид всю ночь сидел рядом с телом, читая псалмы. В его висках начала пульсировать небольшая головная боль. Он обратился к боли, спрашивая о том, какова ее природа. Боль ответила одним маленьким прикосновением. Тогда хорошо, не очень серьезно, просто признак усталости. Он сел, пока мужчины начинали обнажать тело и очищать его.

Левицкий был небольшой человек с усами и толстыми очками. У него и его жены Сары было четверо сыновей. У мужчины были ловкие, быстрые пальцы и легкость прикосновения. Ньюман, возрастом в тридцать с чем-то лет, был пухлый, задумчивый и спокойный. Он был силен; ему часто приходилось поднимать и носить, поддерживать или передвигать мертвеца. Риглер был выше, тоньше, и быстро сердился. Его щеки были вечно красные, а глаза бегали туда-сюда. Однако он был наблюдателен и часто выполнял задание до того, как необходимость в этом увидели другие.

Они и раньше работали над многими таһарот, эти мужчины и пятеро или шестеро других волонтеров для этой торжественной задачи. Каждый знал, какую работы необходимо было сделать. Они работали почти в полной тишине, только маленькое помещение на кладбище иногда издавало звенящие звуки, слышные только во время коротких уверенных движений.

Риглер расчесал волосы Рава, подбирая каждый упавший. Левицкий осторожно держал каждый палец по отдельности – так как запрещено держать мертвеца за руку – и подстригал ногти. Довид наблюдал. Задача не была ему знакома. Он заметил, что, пусть пальцы Рава выглядели немного жесткими, но и его острые пожелтевшие ногти были такими же. Когда Риглер завершил расчесывать его волосы, они положили их в мягкую землю, подстилающую гроб. Каждая частичка тела должна быть похоронена. Ни волос, ни ноготь не может быть оскверненным.

Пришло время поливать водой. Довид поднялся с места и вместе с Ньюманом начал наполнять большие эмалевые кувшины. Каждый брал по кувшину и поливал, один за другим. Поток воды должен быть непрерывным, а второй кувшин начинаться до того, как закончится первый. Если случался промежуток, даже на мгновение, нужно было начинать сначала. Для такой работы требовалось достаточно физической выносливости. Когда Довид поднимал кувшин до уровня своего плеча, головная боль начала пульсировать снова, громко, прямо над правым глазом.

- Все нормально? – спросил Ньюман.

- Я готов, - ответил Довид и медленно кивнул, чтобы не потревожить свою боль.

Вода заструилась по лицу, груди, рукам и ногам. Довид посмотрел на лицо старика под живой водой. Оно выглядело весьма мрачным, как будто его голову посещали беспокойные мысли.

- Довид!

Довид поднял голову и увидел, что кувшин Ньюман почти опустошен – осталось всего пару капель. Он не успевал подготовить свой кувшин, чтобы начать поливать из него. Поток воды, омывающий тело Рава, прекратился. Комната погрузилась в тишину. Ньюман сказал:

- Ничего, ничего, Довид. Ты устал. Начнем сначала. Мы с Реувеном будем поливать.

Чувствуя себя дураком, Довид оглядел лица мужчин вокруг него. Все они были истощенные и желтоватые, но не такие уставшие, как у него; все же они не сидели с Равом всю ночь. Было бы так легко просто сказать: «Да, я пойду домой, посплю час или два». Он вернется на кладбище позже, к похоронам. Эсти будет дома, она сделает ему куриный бульон. Какой муж откажется провести пару часов с женой в такой момент?

- Нет. – сказал он. – Нет. Начнем сначала.

В этот раз Довид поливал первым. Когда его кувшин стал пустым, Ньюман был готов и начал поливать в тот самый момент, когда поток превратился в маленькую струю. Довид чувствовал, как его головная боль мягко пульсировала, тише с каждым ударом, пока наконец не прошла, и он не стал, как и Рав, тих и спокоен.

Мужчины вытерли тело Рава большими тонкими полотенцами и начали его одевать. Было подготовлено льняное одеяние, которое скоро будет надето в первый и последний раз. Сначала они поместили на его голову льняной головной убор.

Когда Довид впервые посетил таһару, он подумал, что у тела, на котором только головной убор, был какой-то сверхъестественный вид, ужасающий своей анонимностью. Теперь он же увидел красоту в таком порядке одевания. Как только голова была покрыта, тело теряло силу своей личности; оно превращалось в святой объект, который будет устранен с уважением и почетом, так же как древние свитки Торы хоронят в земле, когда они больше не пригодны для чтения. Начать с покрытия головы было правильным; после этого все остальное стало проще.

Ньюман помог приподнять бедра покойника, чтобы Риглер надел на него льняные брюки. Не произнося ни слова, Левицкий принялся завязывать узел на брюках. Риглер аккуратно поместил ноги в сшитые на концах штанины. Риглер и Ньюман натянули белую футболку и пиджак.

В этот момент голова, спрятанная в капюшоне, издала небольшой стон – тяжелый вздох, какой делают старики, когда движения приносят им боль. Ньюман, сложив руки на брюшной полости мертвеца, поджал губы.

- Вероятно, - мягко сказал Левицкий, - не стоит так сильно давить на грудь, Ашер.

Ньюман кивнул и аккуратно подвинул руки так, что теперь он поддерживал тело под мышками. Больше мертвый мужчина не издавал звуков, когда на его белой футболке и пиджаке таким же особым образом завязывали узлы.

Теперь тело было полностью покрыто. Рукава пиджака были тоже сшиты на концах, как и брюки; и руки, и ноги были скрыты из вида. Левицкий наклонился, чтобы завязать последний узел на поясе. Он приостановился. Его пальцы дрожали, колеблясь перед последним креплением. Все еще согнувшись, он поднял голову, чтобы взглянуть на Довида.

- Довид, - сказал он, - будет правильнее, если ты завяжешь последний узел. Ты здесь самый близкий его родственник.

Левицкий отодвинулся от облаченного в белое тела, и Довид подошел ближе. Он взял в руки концы белых льняных веревок. Это был финальный узел в виде трехсторонней буквы «шин», первой буквы одного из имен Всемогущего. Как только узел завязан, это нельзя отменить. Он много раз завязывал такие узлы раньше, но почему-то не хотел начинать в этот раз. Этот узел означал бы конец, этот узел, который уже нельзя будет развязать, это действие, которое нельзя будет отменить. Как только он сделает это, больше не будет места отрицанию; что-то изменится. «Ладно, - сказал он самому себе, - да будет так. Ничто не может вечно оставаться неизменным. И он завязал узел.

Мужчины вместе передвинули тело со стола в ожидающий гроб. Когда они поднимались, у всех четверых неожиданно немного закружилась голова. Чтобы устоять на ногах, они одновременно схватились рукой за край стола или стену. Как один, они подняли головы и, увидев друг друга, начали улыбаться. По комнате, словно звук проточной воды, прошелся смех.

- Мы сделали все, что требовалось? – спросил Левицкий.

В знак согласия были сделаны кивки и улыбки сжатыми губами.

- Тогда, - продолжил он, - остается только попросить у Рава прощения.

Мужчины повернулись к гробу, и каждый тихо, своими словами, просил Рава простить их, если они каким-то образом вели себя без подобающего уважения к его телу.

После паузы Риглер начал закрывать крышку гроба. Довид развернулся и вышел из маленькой комнаты. Он не был удивлен, когда увидел, что мир вокруг был залит утренним светом.

В Хендоне сложно искать смысл жизни. Я имею в виду, сложно найти его для себя вместо того, чтобы разрешить это сделать другим людям. Потому что в Хендоне полно людей, которые просто умирают от желания объяснить тебе смысл жизни. Думаю, такое есть и в Нью-Йорке, но в Нью-Йорке у всех разные мнения по поводу смысла жизни. В Хендоне же, по крайней мере, в том Хендоне, в котором я росла, все повернуто в одно направление. Нам всем нужно это несогласие, чтобы осознать, что мир не гладкий и ровный, что не все мыслят одинаково. Нам нужно окно в другой мир, чтобы понять, что мы вообще думаем о самих себе.

Когда я подрастала, для меня это были журналы. Я прокрадывалась в «WH Смит» по дороге домой из дневной школы Сары Рифки Хартог и читала там журналы. Не важно что. Я брала с полки что попадет. Я не очень понимала различия. Я не могла рассказать о целевых аудиториях или демографических данных. Я читала «Loaded and Vogue», «Woman's Own and Rolling Stone», «PC World» and «The Tablet». Обрывки чужих жизней казались мне перемешанными. Казалось, так много вещей, о которых можно узнать: музыка, кино, телевидение, мода, знаменитости и секс.

Сейчас я все время покупаю журналы; я захожу в «Barnes & Noble», выбираю тот, что хочу, и беру домой. У меня дома их целые груды, покрывающие половину поверхностей, и да, я знаю, что я что-то доказываю самой себе, но это стоит доказывать, так что я продолжаю копить стопки глянцевого бумажного.

Хотя странно, что нет журнала под названием «Смерть». Можно было подумать, что кто-то хотя бы напишет такую статью. Какой-то хороший журнал про быт мог бы сделать раздел «Самодельные гробы: более дешевая альтернатива». А «Cosmopolitan» - такой: «Скорбь: делай это лучше, быстрее и чаще». Даже спецвыпуск «Vogue» о похоронных нарядах был бы полезным. Но нет, ничего. Как будто этой важной части человеческой

сущности просто не существует в разноцветном журнальном мире.

Итак, всегда есть терапия. Я думала позвонить д-ру Файнголд, но не хотела слушать ее ответы, замаскированные под вопросы. По крайней мере, не сейчас.

Я могла сказать: «Ладно, он мертв, но этот старый черт все равно никогда мне не нравился. Позвоню друзьям, поеду в клуб и напьюсь».

А потом я подумала о белых одеяниях, в которые они облачат моего отца: льняные, со сшитыми концами рукавов и штанин. Каждый человек, кем бы он ни был, получает все то же самое. И я подумала: в доме моего отца они будут знать, что делать. В доме моего отца им не придется искать ответы в журнале.

Итак, вот что нужно делать, вот что я должна делать. Еврейский траурный ритуал для близких родственников – родителей, детей, братьев и сестер, мужа или жены – таков. В первую неделю ты рвешь свою одежду, не стрижешься, не моешься в горячей воде и покрываешь зеркала (потому что нет времени суете). И ты не слушаешь музыку (потому что музыка напомнит тебе, что где-то в мире кто-то сейчас счастлив).

Это первая неделя. Потом, в первые тридцать дней, ты можешь выходить из дома и принимать душ, но нельзя слушать музыку, покупать новую одежду и ходить на вечеринки. А потом, по истечении первых тридцати дней, до конца первого года, ты не покупаешь новую одежду.

Еще в это время первого года над могилой ставят надгробную плиту, и ты идешь туда и молишься. И с тех пор раз в год зажигаешь свечу в годовщину смерти. Все должно быть очень упорядоченно, очень четко. Может, составить план на целый год или хотя бы на первый месяц. Это все упростит.

Не считая того, что для меня сейчас это ничего не упростит. Потому что это работает, только если все остальные знают, что ты делаешь. Это работает, если ты сидишь на низкой скамье в порванной одежде, и твои друзья и родственники приходят навестить тебя. Они приносят еду, разговаривают тихим голосом и молятся. Но я здесь, и я больше не такая. И почему-то ничего бы не случилось, если бы я позвонила подруге и сказала: «Я бы хотела принять участие в древнем еврейском траурном ритуале. Для этого мне нужны волонтеры».

Я посидела немного. Я думала о том, что происходит сейчас в Англии. Я думала о конце света и о том, что должно быть после. Я думала о вечной жизни в будущем мире. Я не могла больше этого вынести. Я вытащила из косметички маникюрные ножницы и разрежала футболку, которая была на мне. Она порвалась с довольно приятным звуком, рассеяв в воздухе маленькие серые нитки. Мне стало легче, признаю. Было такое ощущение, как будто я что-то делаю, в чем, думаю, и заключается весь смысл. А потом все прошло, и я поняла, что просто испортила абсолютно пригодный предмет одежды.

Я позвонила Скотту. Было поздно, но что ж, он сам всегда говорил: «Звони мне в любое время». «Если тебе правда надо», - добавлял он. – «Если надо».

Я позвонила ему не потому, что нуждалась в нем, или хотела, чтобы он вернулся, или из-за подобной чуши. А потому, что знала, что он поймет. Пока телефон набирал номер, я почти убедила себя повесить трубку, потому что, может быть, из-за этого звонка я кажусь жалкой именно тогда, когда должна пытаться быть сильной. А потом он ответил.

- Привет, - говорю, - это я.

Он сказал:

- А. Ладно.

- Скотт, я бы тебе не звонила, просто...

Я сделала паузу, чтобы добиться драматического эффекта. Да, для этого. Я признаю. Я сделала паузу, чтобы он подумал, что сейчас я скажу, что люблю его или хочу, чтобы он вернулся. Чтобы он почувствовал себя паршивым, недалеким и ограниченным, когда я сказала:

- Я узнала, что мой отец умер.

Вдох.

- Мне очень жаль. – По его голосу было слышно, что ему жаль. После паузы: - Я приеду.

- Нет, нет, не надо. Все хорошо.

- Я приеду.

- Ты уверен? Сможешь ускользнуть?

- Да, - сказал он громко. – Да, я сейчас приеду и выйду на конференцсвязь.

Помню один пьяный вечер в каком-то баре в даунтауне. Была ночь тимбилдинга, поэтому нас было шестеро: Анна, практикантка, большие глаза, короткие юбки; Мартин, менеджер по работе с клиентами, надеющийся, что Скотт уйдет домой, и он будет альфа-самцом; Бернис, тихая, муж звонил как минимум дважды в день; Карла, босс, шерстяной костюм, хотела быть щедрой, но нервно поглядывала на меню каждый раз, когда кто-то из нас заказывал напиток; и Скотт, главный босс, братается с врагами. И я.

Мартин, как обычно, пытался приобнять Анну и говорил слишком громко. Он стукнул кулаком по столу и сказал:

- Знаете, в чем проблема страны?

Мы покачали головами. Мы с Бернис переглянулись.

- Слишком. Много. Религии. Вот в чем проблема. Это религиозное быдло в Айове, вот кто разрушает страну. С цензурой. Вот что разрывает страну на части: цензура. Знаешь, Ронит, у вас в Европе правильно считают. – Он произнес мое имя неправильно, как обычно, поставив ударение на первый слог, Рон ит, вместо Рон ит.

- А, да? – спросила я.

- Да. Бог. Мертв. Я имею в виду, какой в этом смысл, ведь так? Я прав? – Я продолжала молчать. Мартин огляделся по сторонам и повторил: - Я прав, ребята?

Карла посмотрела на Скотта. Он дал ей одобрительную улыбку. Она сказала:

- Ну, думаю, это и правда кажется немного неуместным...

- Да! – сказал Мартин. – Да! Я имею в виду, кто, черт возьми, помнит катехизис, или двенадцать апостолов...

- Или Десять Заповедей, - подключилась Карла.

- Да, кто, черт возьми, вообще знает Десять Заповедей? Разве там не написано, типа, не мусори, не кури, покупай американское, и все такое?

Все засмеялись. Даже тихая маленькая Бернис тихо хихикала, ее плечи тряслись. Кроме Скотта, помню.

Анна, наконец подхватив тему разговора, сказала:

- Да, готова поспорить, никто в этой комнате не знает Десять Заповедей.

Я могла бы тогда посмеяться. Я могла бы изобразить радость. Мартин переключился бы на какую-нибудь другую напыщенную речь. Но вместо этого я сказала:

- Я знаю.

Тишина. Они посмотрели на меня. Это была далеко

не лучшая фраза, которую можно сказать в баре даунтауна в пятницу вечером.

Карла сказала:

- Спорим, не знаешь.

Я загибала пальцы, подсчитывая:

- Раз. Я Господь, твой Бог. Два. Да не будет у тебя других богов кроме меня. Три. Не используй имя Господа напрасно. Четыре. Чти отца своего и мать свою. Пять. Помни святой день субботы. Шесть. Не убивай. Семь. Не прелюбодействуй. Восемь. Не кради. Девять. Не лжесвидетельствуй. Десять. Не завидуй.

Они смотрели на меня с открытыми ртами. Взгляд Скотта встретился с моим. Хороший, ярко-голубой взгляд уважения. И я подумала: надо было сказать на иврите. Мартин сказал:

- Да кто вообще их соблюдает?

Должна признать, он был прав. Потому что в ту ночь Скотт предложил вместе поехать ко мне на такси.

Я оглядела квартиру, пытаюсь вспомнить, принадлежали ли какие-то вещи ему или времени, когда мы были вместе. И лучше будет или хуже, если я их уберу. Лучше, если он не будет думать, что я специально оставляла напоминания о нем. Хуже, если он заметит их отсутствие и поймет, что я специально их убрала. Дерьмо.

Я стояла, держа деревянного кота, которого он мне купил, гадая, что же с ним делать. Это был подарок в качестве примирения. Он сделал одно из своих раздражающих замечаний о том, что женщины не должны жить одни. Я сказала что-то типа: «А, да?». И он сказал: «Ага, особенно еврейки. Вы иногда вредные. Вам лучше хотя бы кошек заводить». Я сказала ему, что он сам себя ненавидящий еврей, а он сказал: «Покажи мне еврея, который не такой», и тут я его вышвырнула.

Через пару ночей я поздно возвращалась из спортзала, смотрю – он прячется в лобби моего дома и держит кота в оберточной бумаге. В тот раз он впервые остался на всю ночь. Я спросила, как так получилось, и он ответил, что жена забрала детей к своим родителям в Коннектикуте; они навещают родственников, ходят в церковь, всякая деревенская ерунда, говорит. Я его ударила и говорю: «Церковь! Ты женился на шиксе?!». Он сказал: «Кто бы говорил». Я сказала: «Я – это другой случай». А он: «Да ладно», и наклонился, и его кожа пахла кедром, льном и лимонами, заполняя мои ноздри.

После этого я сказала ему, что мой отец захотел бы, чтобы я вернула его, Скотта, к вере. Он сказал: «А он бы не хотел, чтобы ты сама вернулась?» Я не ответила на это.

Я думала об этом, о запахе его кожи и размере его рук, которые были слишком большими, до нелепости большими, клоунскими руками, и в тот момент прозвенел звонок в дверь, и буквально через полсекунды он зашел, и я осознала, что все еще держу тупого деревянного кота.

Я положила его на стол в прихожей и сказала:

- Привет.

Он сказал:

- Привет. Я должен пожелать тебе долгой жизни или что-то в этом роде?

- Если хочешь. Но я думала, ты желаешь, чтобы я умерла.

Он пробежался рукой по волосам с усталым и раздраженным видом.

- Не желаю я, чтобы ты умерла. Боже, Ронит, почему ты всегда такая...

- Надоедливая?

- Обороняющаяся.

«Не знаю, - чуть не сказала я, - не могу даже придумать, почему я должна хотеть от тебя

обороняться». Вместо этого я вцепилась ногтями в свою ладонь – крепко, очень крепко – и сказала:

- Я рада, что ты пришел.

Он широко развел руками и обнял меня. Я ничего не сделала. Мы так и стояли в этом коридоре долгое время.

- На сколько ты можешь остаться?

Он набрал дыхание и выдохнул. Он прикусил нижнюю губу, как он всегда делает, когда решает, сказать правду или нет, и сказал:

- Я сказал Шерил, что уйду надолго. Я на конференцсвязи с Токио. Думаю, вернусь до рассвета. Скажем, в два часа ночи?

- Сможешь до четырех?

Он посмотрел на меня, вычисляя вероятности. Насколько я разозлюсь, если он скажет «нет»? Что я сделаю? Будет ли Шерил все равно спать в два часа ночи? Сколько сна ему понадобится перед завтрашним днем?

- Почему? – спросил он.

- Просто к четверем по нашему времени будут закончены похороны в Англии. Вот и все.

Я жалкая, думала я, просто жалкая.

- Хорошо, - сказал он. – Четыре.

Было неловко. Мы так долго стояли в тишине, что я серьезно подумывала сказать: «Эй, что нового у “Yankees”?» Или начать говорить о политике, или даже о работе, потому что все было хорошо, когда было о чем поговорить. Или чем заняться. Проблема была, когда мы оба затихали, и у него на лице появлялось такое выражение, будто он думал о своей жене.

Мы сидели на диване, почти соприкасаясь, но не совсем, и спустя какое-то время до меня дошло, что мы сидим в абсолютно одной и той же позе. Я предложила ему кофе и тут же поняла, что он подтверждал, что я знаю, какой кофе он любит. И то, что я делаю кофе именно так, как он любит, казалось настолько личным, что я думала, что скорее вскрою вены и плесну в чашку своей кровью.

Поэтому я сказала что-то убогое типа: «Не уверена, что у меня есть кофе, пойду проверю». Он очень странно улыбнулся и сказал: «У тебя? Нет кофе? Что-то тут поменялось». Он сказал это, как будто предлагал мне подарок.

Я ничего не сказала. Я прошла на кухню. И в тот момент я подумала: «Что, черт возьми, я делаю?» Я держалась за эмаль раковины осмотрела еду, которая не была кошерной, и посуду, которая не разделялась на молочную и мясную, и на устройства, которыми я пользуюсь в Шаббат. И тут у меня вдруг появилось головокружительное ощущение, будто все эти вещи не принадлежат мне. Мне казалось, что я промаршировала с улицы напрямик в чужую квартиру, и что я никогда раньше не встречала мужчину, сидящего на моем диване. Все было будто как из давнего журнала: чужое, незнакомое и ужасающее. У меня в ухе щекотал тихий голосок, говоря: «Ты получила по заслугам».

Я знала этот голос.

И он снова сказал: «Ты получила по заслугам, Ронит. Все, чем ты себя утешаешь, это женатый мужчина. Все, в чем ты сильна, это работа. А чего еще ты ожидала?»

Я крепче держалась за раковину, когда сделала вдох и подумала: «Я не слушаю». Я не знала, что сказала это вслух, пока Скотт не спросил:

- Что это было?

Я сказала, потому что это первое, что пришло мне в голову:

- Что ты думаешь насчет того, если я полечу в Англию?

- В каком смысле – что я думаю?

- В том смысле, думаешь, мне стоит полететь?

- А почему нет, черт возьми? У тебя же немецкий проект под контролем, разве нет?

Я уже и забыла про него, про его склонность связывать все жизненные решения с работой. Мне хотелось прокричать: «Ты, идиот, я не это имела в виду», и злость вернула меня в реальность. Я сказала:

- Да, он под контролем. Смысл не в этом.

Думаю, он потом что-то сказал, но чайник начал кипеть, и я не расслышала. Когда я выходила с кофе, я сказала:

- Наверное, поеду. Правда ведь? Я должна поехать домой, увидеть своих людей, сходить на могилу к отцу, все такое.

Он посмотрел на меня.

- Конечно.

Я села на диван рядом с ним и молча уставилась в свой кофе. Спустя время он сказал:

- Чего ты боишься?

И я почти рассмеялась, почти, но все же не совсем. Я ответила:

- Может, того, что он все еще будет там. Все еще не одобряющий. Все еще разочарованный.

Скотт мягко спросил:

- А что, если не будет?

И я почувствовала, как в уголках глаз и в горле собираются слезы, и, чтобы их остановить, я сделала глоток кофе и подумала о плюсах. Я съезжу в Англию, и не будет неловких сцен и сложных разговоров. И я заберу мамины подсвечники. Я почти ощущала, как будто держу их в руках, чувствуя их тяжесть. Мамины длинные серебряные подсвечники, оплетенные цветами и листьями. Я видела, как их использовала моя мама, и как позже каждую пятницу вечером их зажигала я. Я видела их красивую запутанность, и каждый был длиной с мое предплечье, серебро сверкало, тонкий стебель переходил в большой серебряные листья, и подсвечники были достаточно большими, чтобы свечи в них горели двадцать четыре часа, если это было необходимо. Подсвечники, которые я все эти годы не попросила бы у отца, потому что он бы не захотел, чтобы они пребывали в моем грешном доме. Хотя хорошо было бы, если бы они были у меня, здесь.

Я почти рассказала это Скотту, но потом подумала: «Почему ты вообще должен об этом знать? Прошло то время, когда ты мог знать такое обо мне». Скотт взял мою руку и сказал:

- Ронит, а она будет там, эта девушка, которую ты...

Я улыбнулась, потому что он не мог ошибиться еще больше. Слезы прошли, так и не пролившись, и мне стало лучше. Я сказала:

- Эсти? Нет, не думаю. Она уже давно ушла. В былые времена она была похуже меня.

Он улыбнулся. Я улыбнулась. Мы сидели и пили кофе, как старые друзья.

Позже мы поговорили. Про Англию, про моего отца. Я попыталась объяснить, чем евреи в Британии отличаются от евреев в Америке. Есть такое у Скотта – он делает так, что все кажется очень простым, потому что в его мыслях оно именно такое. Он сказал:

- Он был каким-то важным раввином, твой папа? Написал книгу, основал синагогу. Что будет сейчас?

Я покачала головой.

- Если я знаю эту общину, - я посмотрела на часы, - да, они уже обсуждают, кто же заменит моего отца.

- Сейчас? Когда его еще даже не похоронили?

- О да, особенно сейчас. Это решающий момент. Понимаешь, - я откинулась на стуле, расслабившись и приготовившись читать лекцию, - динамика синагог на самом деле простая, как динамика монархий. Все дело в наследовании. Чем проще наследование, тем все счастливее.

- Они уже выбрали наследника?

- Скорее всего. По крайней мере, у совета есть кто-то на уме. – На мгновение я посмотрела на потолок, размышляя. – Я, конечно, не знаю все так, как знала тогда. Но, думаю, мой двоюродный брат Довид – наиболее вероятный претендент. Хотя... Он не особо уверен в себе. У него нет, ну, знаешь, такого «ва-ва-вум».

- Раввину нужен «ва-ва-вум»?

Я улыбнулась:

- Ты понимаешь, о чем я. Харизма. Навыки общения. Приятный голос. Все такое. – Я сделала еще один глоток кофе. – Но я все же думаю что это будет Довид.

- Как это? Если у него нет харизмы, навыков общения, приятного голоса?

На секунду я задумалась, уставившись в свой кофе. Он послушный. Вот какой Довид парень: тихий, мягкий, делает то, что ему говорят. Они не захотят другого раввина-подстрекателя. Совет захочет кого-то, кем они смогут командовать, кому смогут говорить что делать, кого-то, кто не будет создавать неприятностей. Я улыбнулась. Кажется, родись я мужчиной, я бы все равно не отвечала ни одному требованию.

Он смотрел на меня с наполовину сочувственной, наполовину позабавленной улыбкой. Я вдруг больше не хотела об этом говорить. В конце концов, ради чего я позвонила ему среди ночи? Не ради чтобы горевать с ним, вместе вспоминать моего отца или сидеть на низкой скамье. Я сказала:

- Знаешь, что мне нужно прямо сейчас?

- Что?

Я положила руку сзади на его шею, покрытую щетиной, и притянула к себе. И, поскольку это было так легко, или потому что это было знакомо, или потому что положило конец неловкости, он поцеловал меня в ответ. Он пах точно так же, как я помнила, может даже лучше. И мы приступили к другим простым, знакомым, запрещенным вещам.

===== Глава третья =====

Глава третья

Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, отделяющий святое от буднего, свет от тьмы, народ Израиля от других народов, седьмой день от шести дней творения. Благословен ты, Господь, отделяющий святое от буднего.

Из Авдалы, читается в конце Шаббата

В начале Господь создал небеса и землю. Земля была создана tohu vavohu. Что такое tohu vavohu? Это спорный вопрос среди мудрецов. Некоторые говорят – бесформенная. Некоторые считают – вакуум. Некоторые твердят: поразительная пустота, как будто они сами стояли бок о бок со Всевышним до возникновения времен и были поражены этой пустотой.

Некоторые говорят – хаос. Эта интерпретация, кажется, объясняет эти слова, которые являются всем, что мы знаем о начале. Tohu vavohu. Как попало. Вверх тормашками. Наизнанку. Там и сям. Все виды выражения были доступны Создателю, каждое человеческое

чувство. Он выбрал слова – топу вавошу. Куча мала.

Таким образом, в самом начале разделение было самой важной работой. Это как распутать запутанные нити. Всевышний сказал: «Это будет отделено от этого. Это станет водой, это станет небом, а это будет линией между ними – горизонтом».

Значит ли это, что этот мир появился по слепому жесту, а потом все его элементы медленно разбрелись по своим местам, как будто были проведены невидимые линии? Это значит, что для того, чтобы понять мир, человеку нужно понять, что такое разделение.

В среду вечером, в пятую ночь шивы, Довид наблюдал, как Эсти готовила. Простая признательность ее навыкам доставляла ему удовольствие. Ему нравилось смотреть, с каким профессионализмом она добавляла приправу или тянулась за чугунной кастрюлей. Ему казалось, ей нравится готовить. Он никак не мог это знать наверняка, но тот факт, что она продолжала это делать, кажется, говорил об этом. В любом случае, как еще им общаться? Она готовила, и он ел – это тоже был способ общения.

Год назад новая участница общины – Миссис Стоун, жена ортодонта – подошла к нему после служения на Шаббат и прошептала:

- Ваша жена, Рабби Куперман. – Она еще не научилась обращаться к Довиду, как это делали остальные. – Ваша жена разговаривает?

Несколько женщин около нее повернули головы и моргнули, словно хищные птицы. Он почти улыбнулся. Через пару дней одна из этих женщин отвела бы ее в сторонку и объяснила, как обстояли дела, и что некоторые вещи лучше не обсуждать. Миссис Стоун пришлось бы согласиться.

- Конечно, - сказал он. – Конечно, она разговаривает.

И это было правдой. Эсти часто говорила. Бывало, они вели друг с другом длинные непринужденные беседы. Они проводили так целые ночи, разговаривая, пока небо не побледнеет.

А теперь же они общаются через кастрюли и сковородки, через... Что она готовила? Шипящие сковородки были из флейшиг набора. Значит, мясо. Довид немного приподнялся с места и увидел, что она перемешивала рубленную говядину. Она держала в руке ложку с красной ручкой из одного набора с оранжевыми флейшиг сковородками и бордовыми тарелками. Это тоже была форма общения. Бессловесный кухонный порядок, разделение молока и мяса, которое не навязывалось, а как будто исходило само собой из каждой утвари. Конечно, каждая принадлежность как будто говорила – мясное надо готовить с красных кастрюлях, а молочное – в синих. Это естественно, как и то, что корни дерева всегда остаются в одном и том же месте, вода всегда бежит, а стены здания неподвижны. Такой порядок, подумал Довид, это просто Божий голос, мягко шепчущих свои указания в этом мире.

У них была необходимость в порядке, и, в сущности, у них была необходимость и в тишине. Неделя выдалась беспокойной, тошнотворной. Они не сидели шиву – это была не их обязанность, ведь шиву сидят только родители, братья, сестры или дети умершего. Но разве ведь не написано, что человек, учащий другого Торе, может считаться его отцом? Таким образом, община скорбела, а дом Эсти и Довида стал местом горевания.

Каждую ночь был стук в дверь, тихо произнесенные слова, подарки и еда. Посетители слились в голове Довида в одно лицо, одновременно торжественное и требовательное. Только несколько деталей отличались: Левицкий, прибывший с банкой печенья и лопающий его на протяжении всего визита, словно ребенок; Френкель, вручивший им копии речей

Рава, чтобы «облегчить для них этот тяжелый период»; и Хартог, который пришел три раза в костюме с Харли Стрит в сопровождении своей жены, Фрумы, одетой в безукоризненный темно-синий цвет. Хартог и Фрума просто сидели в тишине, пока эта тишина не становилась настолько плотной, настолько бархатистой и оглушающей, что Довиду приходилось спрашивать о делах синагоги. Хартог с удовольствием отвечал серьезно и подробно, хотя Довид никак не было способен усвоить полученную информацию.

Однако Эсти при всем при этом удавалось сохранять внутреннее спокойствие. Она не показывала признаков дискомфорта или растерянности. Все было, как и прежде. Довид знал, что говорили о его жене. Она и правда была молчалива, даже в компании, даже когда к ней обращались прямо. У ее манер была некоторая странность, у нее была способность неожиданно становиться неподвижной. Они не осознавали, что у нее был другой дар – сохранение порядка внутри самой себя, в то время как она размещивала и нарезала, приправляла и пробовала на вкус.

И вдруг что-то произошло. Он наблюдал не слишком внимательно, это правда, но что-то все же было не так. Эсти держала в руке упаковку масла, развернула обертку и отрезала маленький кусочек, готовая поместить его прямо в говядину. Должно быть, это всего лишь маргарин. Наверняка. На секунду он засомневался, а увидев золотую упаковку, был уверен. Он подпрыгнул, одернул ее запястье и сказал:

- Эсти?..

Но было слишком поздно. Масло упало.

В начале говорится о разделении. Но не просто о разделении. А, если выразиться правильнее, - об уместном разделении.

Ведь когда Бог сотворил мир, Его работа заключалась не только в том, чтобы отделить одно от другого. Некоторым вещам Он приказал смешаться. Он создал травы и фруктовые деревья, морские создания и пресмыкающихся, птиц и зверей, мужчину и женщину. И первая заповедь, которую Господь возложил на Свои создания, была такова: «Плодитесь и размножайтесь».

Для нас же, сметенных из пыли и взятых из всего того, что меньше нас, работа заключается в понимании тонкости границ. В принятии и изучении того, что должно быть отделенным, а что – смешанным.

Сначала Эсти ударил запах, еще до того, как Довид схватил ее запястье, повторяя: «Перестань, перестань!» Запах был неправильным – богатый аромат говядины, смешанный с чем-то более тяжелым, более сладким. Прежде чем Довид заговорил, Эсти знала, что допустила ошибку.

Она позволила Довиду забрать от нее упаковку. Он пробормотал что-то о том, что после визитов всех этих людей кухня стала беспорядочна. Она кивнула. Он продолжил:

- С кем не бывает, этого не предупредить.

И Эсти затихла, потому что на мгновение перестала думать. Потянувшись за маргарином, в короткий промежуток времени, короче которого, казалось, ничего нет, она собиралась озвучить перечень всего того, что ранее занимало ее ум. Уже как четыре дня, с Шаббата, она возвела некоторым своим заботам ограждение и беспрестанно его охраняла, перечисляя в уме, какую работу нужно было сделать, что нужно было купить, что приготовить, кому позвонить. И у нее получалось – она не думала.

Но, тянувшись за маргарином, и, возможно, чувствуя взгляд Довида, ее размышления прервались. И, тянувшись, наливая и помешивая, Эсти думала обо всех тех вещах, которые

уже давно намерилась забыть. Она думала о перемене, которая скоро непременно наступит. О том, что, возможно, случится на этой неделе, на следующей, через две недели. И она думала о ней. О кончиках ее пальцев, легко касающихся сзади ее шеи, поглаживающих подбородок, пока большой палец не остановился на губах.

Уставившись в сковородку, в которой все еще кипела ароматная смесь, и Довид, и Эсти оба почувствовали, как оно отступило. Возможно, им следовало позвонить Раву – другому Раву, из какой-нибудь другой общины – и попросить сделать сковородку снова кошерной. Но она как будто едва принадлежала им – Эсти никогда бы в ней больше не готовила; Довид никогда бы из нее больше не ел. Довид обернул масло-говядину слоями газеты и поместил мокрый сверток в мусорную корзину на улице. Эсти оставила сковородку на ступеньке – она выбросит ее, когда она остынет.

У нее не хватало сил начать сначала. Довид достал хлеб из буфета и сыр из холодильника, и они ели за кухонным столом. Он рассказал похожую историю со времен ешивы. Это был анекдот; молодой парень перепутал емкости и приготовил сырную лазанью с настоящей говядиной вместо соевой. Все было бы не так плохо, но он пригласил на обед Рош Ешиву. Все, разумеется, пришлось выбросить, и Рош Ешива заставил учеников три недели повторять элементарные законы кашрута.

Эсти посмеялась. Она взяла небольшой кусок своего бутерброда и медленно прожевала. Затем осторожно, как будто эта мысль пришла к ней впервые, и для нее не имело значения, услышит ли она ответ, она спросила:

- Когда приезжает Ронит?

Довид резко на нее посмотрел.

- Ты не упоминала о ней кому-то из гостей?

Эсти глотнула и потрясла головой.

- Я просто... Я просто не уверен, что это бы ей понравилось, - сказал Довид.

Довид опустил взгляд и молча наблюдал за тем, как Эсти жевала свой бутерброд. Эсти подумала, не забыл ли он ее вопрос. Намеренно глядя в пространство чуть правее головы Эсти, он произнес:

- Завтра. Она приезжает завтра. Ты не должна с ней видеться, если не хочешь. Я поговорю с ней о семейных делах, она может остаться в отеле. Это не должно быть чем-то сложным – это может быть очень просто. По-деловому. Ей не обязательно знать, что ты тут, если ты не хочешь.

Если бы Довид смотрел на лицо Эсти, он увидел бы на нем вспышку удивления. Как бы то ни было, ее голос был немного сдавленным:

- Пусть останется здесь.

Он взглянул на нее, как будто взвешивая ее решение.

- Твой выбор.

Еще пару минут они ели в тишине. После Эсти сказала:

- А она знает про нас?

- Она знает, что я женился.

- Но на мне?

- Нет. – Довид опустил взгляд на пустую тарелку перед ним, слегка оттолкнул ее, собрал в руку несколько крошек со стола и кинул на тарелку. – Нет, - произнес он, снова глядя на Эсти. – Я не смог сказать.

Я твердила себе, что будет легко. Что может быть сложного? Вернусь в Лондон

ненадолго, заберу некоторые семейные безделушки, пообщаюсь со своим двоюродным братом Довидом и его женой, вернусь домой. В конце концов, даже если будет не очень легко, это будет правильное решение, взрослое решение. Д-р Файнголд одобрила мое времяпрепровождение в Лондоне, не то чтобы она сказала это, но это было понятно из того, что она не расспрашивала меня, почему я этого хочу. Отпроситься с работы не было проблемой. Скотт, очевидно, объявил Карле о моей потере, потому что она приготовила свое сострадательное лицо, когда говорила, что я могу взять столько времени, сколько понадобится. Вообще-то, она предложила мне месяц:

- Столько же скорбят евреи, правда, Ронит? Месяц?

Я не хотела вдаваться в подробности, поэтому просто сказала:

- Да, месяц.

И все, сделано. Кажется, у того, что ты спишь с боссом, правда есть преимущества. Я купила билет. Пока что все просто. Будто планируешь отпуск.

До тех пор, пока не поступила нерешаемая, непреодолимая, неминуемая проблема: что надеть. За восемь часов до отлета я стояла перед шкафом, все еще в поисках. Я выбирала длинные юбки. У меня их было тринадцать, но все были неправильные. На половине были разрезы – невозможно. Большинство других были слишком узкие и облегающие. Абсолютно невозможно. Так что я осталась с серой юбкой, которую я иногда ношу по дому, когда чувствую себя обрюзгшей.

Дальше что, рубашка? Вытащив каждый предмет одежды в моем владении, я обнаружила, что имею больше трехдюжин рубашек и блузок, включая восемь белых. Но не было ни одной, что застегивалась у самой шеи, и рукава которой были до запястья. Свитера, опять же, были облегающими. В конце концов, я нашла синюю водолазку, свободную и мешковатую, валявшуюся в углу шкафа.

Я примерила этот наряд и стояла, глядя на себя в зеркало. Я не могла это надеть. Не только потому что я выглядела, как фотография в журнале с пометкой «до», но еще потому, что я совершенно не была похожа на них - этих фрум, уважаемых женщин, которые ездят на Вольво от «Кошер Кинг» до школы «Бейс Яков». Я была похожа на несчастливую пародию на них.

На какой-то момент я серьезно задумалась о том, чтобы поехать на метро в Бруклин и купить себе новый гардероб: платье-сарафаны, свободные рубашки с длинными рукавами, бархатные обручи для волос, белые колготки и коричневые туфли со шнурками. Я даже подумала купить шейтел - парик, светлый и с челкой, такой, какие многие женщины носят на праздники – тогда я могла бы прибыть в Лондон и притвориться, что я замужем. Я могла бы изобрести детей: Брейнде, Ханале, Исроэль и Меир. Я оставила их со своим мужем, Авраами Мойше, в Краун Хайтс. Да, сказала бы я, я работаю логопедом, а Авраами Мойше, конечно, учит Тору. Я могла бы вступить в рассуждения о том, насколько кошерны их кухни. Я могла бы сказать – знаете, вы были правы, это была всего лишь фаза. Смотрите, я излечилась.

В этой идее было нечто удивительно сладостное – я поразмышляла над ней, рассказала о ней подруге. А что если бы я побрилась налысо, потому что даже мой муж не может видеть мои волосы? А, может, я пишу на доске вместо того, чтобы говорить при мужчинах? А что, если я скажу им, что ем только мясо, зарезанное моим раввином? Мы рассмеялись. Я не поехала в Бруклин.

Что оставило меня все в таком же замешательстве перед собственным шкафом. Я

достала все и снова разложила на кровати. Я подумала, что представлюсь как Ронит, независимая бизнес-леди из Нью-Йорка. Они не удивятся, но, может, испугаются. Я надену свой деловой брючный костюм с сапогами на высоких каблуках. Я возьму свои визитные карточки, буду инициировать рукопожатия с мужчинами, притворюсь, что забыла абсолютно все. Я буду делать вид, что озадачена и позабавлена их причудами. Я представила, как стою в синагоге и разговариваю по телефону на Шаббат. Представила шок на лицах.

Д-р Файнголд сказала, что это навязчивое выбирание одежды заменяет более основательное выражение моего горя, и мне нужен скорбный ритуал. Мне хотелось ей сказать: «А что говорит о Вас, Д-р Файнголд, то, что Вы живете одна в безукоризненной белой квартире с котом, которого называете Малыш?» Конечно, вместо этого я слушала и кивала, потому что я совсем не хотела начинать еще одну беседу насчет моей агрессивности, моих проблем с границами и моей привычки, которую она называет «сопротивляться процессу». Знала бы она, что вся моя жизнь построена на сопротивлении процессу.

За четыре часа я нисколько не приблизилась к решению. Я уже хотела позвонить Довиду, но он бы даже не понял моего вопроса. Кроме того, когда я говорила с ним раньше, казалось, он не очень твердо понимал, что происходит. Я тогда подумала о людях в Англии – людях, которых я, возможно, захотела бы увидеть. Я спросила у него о нескольких: о его братьях, о нескольких девочках, с которыми ходила в школу, и об Эсти. Он как будто даже не услышал, что я сказала имя Эсти. Я не переспросила – скорее всего, она уехала вскоре после меня.

Он посвятил меня в некоторые события из его жизни. Последние пару лет он работал помощником моего отца.

- Ну что, Довид, получается, ты будешь следующим Равом?

Последовала долгая пауза.

- Нет, - сказал он. – Нет, я не могу. Я не... Мы не... Мы не хотим.

- Мы? – спросила я. – Твоя жена тоже этого не хочет?

- Моя жена? – Как будто он никогда не слышал, что это такое. – Нет, просто мы не... Я не... Я не хочу.

Он перевел тему на семейные новости. Думаю, он просто скромничал. Еще не пришло время озвучить его амбиции. Люди, едва знавшие моего отца, вероятно, все еще вслух сокрушаются о его уходе. А я... Я не могу даже представить перед собой его лицо. Мы не разговаривали шесть лет, и это был просто краткий звонок перед Рош ha-Шана, так что не то чтобы мне не хватало его компании.

Довид рассказал мне о последних месяцах папы. Месяцах кашля и рвоты, слизи и крови. Он всегда был худым, никогда не был сильным, даже когда он был молодой. Иногда после трудного дня он сидел в кресле в нашей гостиной, большим и указательным пальцами нажимая на переносицу, где обычно находились его очки. И его руки были такие белые, а вены на руках – голубые. Иногда, когда я видела его таким, мне почти казалось, что он мертв, и тогда я тянула его за пальто, и он открывал глаза и бормотал что-то на идише, чего я не понимала, но было понятно, что он не злится.

Даже когда я была подростком, и мы начали спорить о сущих мелочах – какую я носила юбку, как я смотрела телевизор в «Диксонс», думая, что меня никто не видит, как я начала ждать три часа между мясом и молоком вместо шести – даже тогда я выдыхала с

облегчением, когда он открывал глаза. Я думаю об этом, и чувствую грусть, и сожалею. И я думаю о том, как эти последние месяцы были также месяцами ожидания. Но он не позвонил. Он не попросил меня приехать. Когда я думаю об этих вещах, в горле образуется комок, а в носу начинает щипать. Тогда-то я и звоню подруге, чтобы рассказать ей о Фантастической Идее О Бруклинском Гардеробе. Потому что я не собираюсь оплакивать его.

В конце концов, я взяла все – юбки, блузки, свитера, кеды, сапоги, брючные костюмы, пижамные штаны, даже вечернее платье. Я подумала: лучше иметь все варианты, лучше не привязывать себя к чему-то одному. Лучше иметь оба наряда – и тот, что говорит: «Я пришла с миром», и тот, что говорит: «Пошли вы». Ведь кто знает, что мне понадобится сказать в этой ситуации? Другими словами, я взяла с собой в аэропорт JFK три гигантских чемодана. Ладно, я восемнадцать лет спорила с одним из величайших знатоков Торы нашего поколения, так что смотреть свысока на работников авиалинии меня не затруднит.

Весь полет я спала. Мне снился странный сон, куча изображений, из которых только одна часть была яркой, когда я проснулась. Мне снился Довид, каким я знала его, когда была маленькой, когда он оставался у нас на летние каникулы. Мне снилось, как он сидел за разваливающимся столом в своей комнате и учился. Стол наклонялся в одну сторону, если его не прислонить к стене и не придерживать рукой. Мне снился этот стол, о котором я не думала уже много лет. Мне снилось, как Довид работал за этим столом, и мы ругались, я и он. Хотя я не припомню, чтобы когда-нибудь ссорилась с Довидом. Я все кричала и кричала, а он говорил мягко; я не могла разобрать, что. И неожиданно я знала, что если открою ящики стола, то все пойму. Он попытался меня остановить, но я его оттолкнула. Открыла ящики, и из них посыпались гортензии, букет за букетом. Я проснулась, когда мы уже приземлялись. Вот я и в Лондоне.

Скотт однажды сказал, что мы принадлежим трем местам: месту, где выросли, месту, где ходили в колледж, и месту, где находится человек, которого мы любим. Я бы добавила к этому списку четвертый пункт: место, где мы впервые обращаемся за профессиональной психологической помощью. По любому раскладу, я принадлежу Нью-Йорку больше, чем Лондону. Я училась здесь в колледже, Д-р Файнголд здесь. Если заменить «человек, которого мы любим» на «человек, с которым мы занимаемся сексом», тогда Скотт тоже здесь. Конечно, это не мешает американцам предлагать мне «чашечку чая» каждый раз, когда они слышат мой акцент, но все равно. Я – Нью-Йоркер.

Хотя, исходя из этого вычисления, Лондону я тоже принадлежу. Что кажется чем-то нереальным. Я взяла такси к дому Довида, и когда мы проезжали самый центр северо-западного Лондона – Финчли Роад, Хэмпстэд, Голдерс Грин – я замечала все больше и больше знакомых мест. Пекарня, где готовили лучшие в мире замороженные торты – розовый, желтый и белый. «WHSmith», где я часами после школы читала запретные журналы. Дневная школа Сары Рифки Хартог пряталась за соснами, но я все равно знала, что она там. Я не испытывала никакого удовольствия, не чувствовала ностальгии. Я скорее ощущала себя завистливым туристом, глядящим на Англию холодным и непрощающим взглядом. Нет, не на Англию я так смотрела. На евреев Англии. Я ничего не имею против Англии, хоть не так уж и много ее видела, когда жила здесь. Но то, какие здесь евреи... Хочется переворачивать столы и кричать.

В Нью-Йорке у меня есть друзья-евреи. Не ортодоксальные евреи, а образованные, умные, умеющие выражать свои мысли евреи. Те, кто объявляет «Нью-Йорк таймс» бойкот, потому что считает, что она против Израиля, или выступает против Франции, или пишет еврейские стихи, или говорит умные вещи на телевидении о еврейской точке зрения о чем-либо. Кто никогда не чувствовал бы вину, а тем более, отрицание, касательно еврейской точки зрения о чем-либо.

В общем и целом, в Англии таких людей не встретишь. Конечно, есть какой-то чудак из «Мысли дня» на радио BBC, вещающий какую-то банальщину «от наших мудрецов». И конечно, есть целая бригада ненавидящих самих себя и скандирующих «Израиль – зло». Но в Англии не увидеть, как еврейский народ принимает активное участие в культурной и интеллектуальной жизни страны, потому что хочет говорить, писать и думать обо всем еврейском. И который уверенно знает, что не евреям тоже будет интересно то, что они говорят. Который не боится использовать еврейские слова, упоминать еврейские праздники или традиции, потому что они знают, что их читатели поймут, о чем идет речь. Тут такого нет. В этой стране как будто порочный круг, в котором взаимодействуют еврейский страх быть замеченными и естественная британская скрытность. Они подпитывают друг друга мыслью о том, что британские евреи не могут говорить, быть услышанными, ценят абсолютную невидимость превыше всех других достоинств. Что меня беспокоит, потому что, хоть я и могу бросить религию, я не могу бросить свое еврейство.

Я думаю об этом и вспоминаю некоторых мужчин из папиной синагоги. Профессионалы, в основном, доктора, адвокаты, бухгалтера. Я помню, как они говорили о своих коллегах, которые не были евреями. По крайней мере, некоторые. Они говорили: «Они не понимают Шаббат, эти гои», или «Они считают, соблюдать кашрут – это просто не есть бекон», или «Новая секретарша спросила, не ношу ли я кипу, чтобы прикрыть лысину». Они смеялись над этими ошибками, но никогда не пытались исправить их. Они говорили: «Они не могут понять, им не объяснить. Они не способны на это». Как будто речь шла о детях или умственно отсталых.

Они говорили и другое. Они говорили, что такой-то человек был «плох для евреев», потому что негативно отозвался о микве. Или что такой-то человек был «хорош для евреев», потому что вел беседу о «еврейских ценностях» в воскресной телевизионной программе по BBC. Они верили, не сомневаясь, что дебаты о чем-либо еврейском – это плохо, чистейшее восхваление – лучше, но лучше всего – просто тишина. Терпеть их не могу. Я уже и забыла, что к таким людям я возвращаюсь – к этой синагоге, полной маленьких ограниченных умов. К этому миру тишины, где евреи должны быть тише, чем не евреи, а женщины – тише, чем мужчины.

И, думая об этом, представляя душное помещение синагоги, я выглянула из окна и увидела ее. Она стояла за забором, но была видна. Синагога моего отца. Как будто я призвала это изображение из своего сознания. Два дома, соединенные вместе, как один. Я никогда не понимала, зачем они это сделали: наверное, это было дешевле, чем построить новое здание, но, зная цены на недвижимость в Хендоне, не настолько уж и дешевле. Думаю, это связано с верой в то, что мы не задержимся здесь надолго, что Машиях придет в любой день, и нет смысла строить что-то долговечное. Я помню, когда они купили их – Хартог показал нам дома, когда в них еще ничего не было сделано, присел на корточки, тяжело дыша мне в лицо, и сказал: «Это будет папина новая синагога». Я не могла этого представить – это были два обычных дома. В одной из спален были обои с ракетами и

лунами. Даже когда там поменяли пол и потолок, покрасили стены в белый и построили женское отделение, я все еще представляла, что где-то там прятались ракеты и луны. Я отдирала краску со стен, пытаюсь их найти.

Такси совершило один поворот, потом другой, мимо домов, которые неожиданно были до абсурда знакомыми. Вот мы и приехали. Дом с бледно-желтой дверью и краской, отваливающейся с оконных рам. По углам окон собирался пар, а водосточный желоб свободно свисал, как сломанная конечность. Я позвонила в звонок.

Довид ответил почти сразу же. Он выглядел уставшим, и, хотя я знала, что ему тридцать восемь, казалось, что ему все пятьдесят. На нем был костюм мальчика из ешивы - черные брюки и белая рубашка, - но его кожа имела болезненный вид, а лицо было небрито. Он улыбнулся и тут же, моргнув, посмотрел вниз. Интересно, заметил ли он, что на моей юбке был разрез. Он сказал:

- Ронит, рад тебя видеть.

А я сказала:

- Привет, Довид, - и потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. Он сделал шаг назад, слегка трясая головой. Забыла. Нельзя. Касаться женщины, которая не твоя жена. Даже пожать руку не разрешено. Я прикусила язык, готовый пробормотать извинения, потому что меньше всего мне хотелось начать извиняться за то, что я больше не такая, как они.

Он провел меня в гостиную и спросил, запинаясь, не хочу ли я чего-нибудь – попить, поесть. И я сказала, что да, я хотела бы колы. Он побежал на кухню, и я осмотрела комнату. Украшена максимально неброскими цветами – бледно-желтые стены, бежевый ковер. Никаких картин, не считая свадебной фотографии на камине. Точно, свадебная фотография. Ладно, посмотрим на жену.

Я взяла фотографию, тяжелую из-за серебряной рамки. Ничего неожиданного: Довид в шляпе и костюме, молодой и счастливый, положил руку на плечо улыбающейся молодой женщине в белом платье. Жена очень похожа на Эсти, странно. Я подумала, почти в шутку, что, может, Довид женился на одной из сестер Эсти – вот была бы умора. Я посмотрела ближе. И все поняла. Довид, суетившись, возвращался с моей колой. Он увидел, что я смотрю на фотографию, остановился и сказал:

- Ронит, ты... - И прервался.

Последовала неловкая тишина. Я бы запросто ее заполнила. Но совершенно не смогла придумать, что сказать.

===== Глава четвертая =====

Глава четвертая

Все говорят:

Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, за то, что не создал меня рабом.

Мужчины говорят:

Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, за то, что не создал меня женщиной.

Женщины говорят:

Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, за то, что создал меня в соответствии с Его волей.

Из Шахарит, утренней молитвы

Мудрецы рассказывают, что, когда ha-шем создал на четвертый день солнце и луну, он сделал их равными по размеру. (Как и мужчина и женщина сначала были созданы абсолютно равными.) Написано: «И создал Бог два великих светила». Но луна пожаловалась на это:

«Двум правителям не носить одной короны». И ha-шем ответил: «Хорошо, раз ты просишь, чтобы кто-то стал меньше, а кто-то больше, ты уменьшишься в размерах, а солнце увеличится. Твой свет станет всего лишь одной шестидесятой того света, что у тебя есть сейчас». Луна снова пожаловалась Всевышнему о своем тяжелом положении, и, чтобы утешить ее, Он дал ей компаньонов – так появились звезды. Мудрецы говорят, что по окончании веков, когда все придет к порядку, луна снова станет одного размера с солнцем. Ее понижение в должности лишь временно; когда-нибудь будет восстановлена ее полная мощь.

Что мы из этого учим? Для начала, мы учим, что луна была права, раз Бог прислушался к ее словам. В этом неидеальном мире два правителя никак не могут носить одну корону. Один должен быть меньше, а другой – больше. Так же и с мужчиной и женщиной. Так будет вплоть до времен совершенства, до времен Машияха, который, верим мы всем сердцем, придет скоро и в наши дни. Также мы учим, что ha-шем милосерден. Он осознает положение меньшего. Он утешает тех, кто нуждается. Мы учим, что звезды – подарок, который Он подарил луне.

В дневной школе Сары Рифки Хартог закончились уроки. Девочки, тяжело ступая, выбежали на улицу, кто к автобусной остановке, а кто к станции метро, и шум наконец покинул ступеньки – почему, думала Эсти, у них такие тяжелые туфли? Почему они топают, а не ступают легко? Этот вопрос часто поднимала на собрании миссис Маннхайм, директриса, упрасывая девочек ходить аккуратно, меньше шуметь. Эсти не была уверена, как она относилась к этой просьбе: ей нравилась тишина, но в шуме из школьных коридоров будто было что-то жизненно важное.

В любом случае, сейчас школа тиха. Ей незачем было оставаться, пришло время идти домой. Но она не пошла.

Эсти знала, что ее урокам сегодня чего-то не хватало. Ей удалось поддерживать порядок в классе, но она сомневалась, получилось ли у нее передать девочкам какой-либо урок из Торы. Разумеется, было понятно: у нее горе. Миссис Маннхайм звонила Эсти домой, чтобы сообщить, что ей не обязательно приходить на этой неделе и на следующей. И все же сегодня она решила вернуться. Она подумала, это странно: возвращаться на работу вместо того, чтобы остаться дома. А сейчас сидеть за своим столом, проверяя работы учениц, хотя учебный день уже закончился. Все в неподходящий момент. Эсти не могла понять связи между этими фактами, но довольствовалась тем, что просто наблюдала за ними со стороны.

Еще один интересный поворот. Она закончила выставлять оценки, но все еще сидела за своим столом. Ей больше нечего было делать. Пора идти домой. Странно, что она все еще сидела в школе. Она собрала вещи в сумку и убрала тетрадки в ящик стола. Да. Это было правильное, рациональное поведение. Она взяла сумку. Она начала идти по коридору, очень медленно. Она поняла, что скрупулезно рассматривает все, что висело на стенах: рисунки, на которых девочки рисовали шаббатный стол, семнадцать изображений хал, вин, подсвечников и кубка для вина; работы по еврейской истории, на которых старшие девочки демонстрировали свои знания о хасмонеиском периоде; работы по математике с двадцатью тремя диаграммами Венна, отображающими, кому нравится хоккей, кому нетбол, а кому и то, и то. Особенно Эсти обратила внимание на диаграммы Венна. Ей нравилась их простота и аккуратность. Вероятно, так можно изобразить любую характеристику, чтобы полностью понимать человеческую природу. Людей можно было бы классифицировать по тому, что им

нравится: некоторым нетбол, некоторым хоккей, а некоторым и то, и то.

Она продолжила идти по коридору. Ей почему-то необходимо было заглянуть в каждый кабинет, рассмотреть в нем картины на стенах или покачать головой из-за беспризорно валяющихся книги, шарфа или пенала. Если так делать с каждым классом, пойдет домой она еще нескоро. Эта мысль не была для нее нерадостной. Она продолжила движение, думая, что одна во всей школе. Она удивилась, когда через несколько классов обнаружила еще одну учительницу.

Мисс Шницлер, преподавательница географии, прикрепляла к задней стене кабинета нечто похожее на карты. Она была поглощена своим занятием. Она не слышала, как Эсти подошла к двери. Эсти приостановилась в дверном проеме, наблюдая. Мисс Шницлер была молода – ей было всего двадцать четыре – и красива, с длинными кудрявыми рыжими волосами, очень бледной кожей и полупрозрачными ресницами. Девочкам нравилось это в ней, ведь дети часто любят красивых людей, особенно, если они еще и добрые. Эсти разговаривала с мисс Шницлер пару раз, но не знала ее хорошо. Она слышала, что мисс Шницлер помолвлена, и, следовательно, после замужества много лет не будет преподавать: будет рожать и воспитывать детей. Эсти видела это раньше: приходили молодые женщины, работали три или четыре года, а потом выходили замуж и пропадали.

Эсти наблюдала, как мисс Шницлер наклонилась к коробке с канцелярскими кнопками, взяла несколько и попыталась закрепить с их помощью карту. Она пыталась держать ее одной рукой и прикрепить другой, но не справлялась. Эсти спросила:

- Я могу помочь?

Испуганная, мисс Шницлер обернулась, все еще придерживая карту одной рукой, так что карта порвалась прямо посередине.

Обе воскликнули: «Ой!» почти одновременно. Мисс Шницлер посмотрела на обрывок карты в своей руке, а потом снова на Эсти. Она улыбнулась.

Эсти поняла, что пора идти домой. Уже слишком поздно. Довид может волноваться. Она с интересом думала о том, что она до сих пор не ушла домой, а стояла и наблюдала, как мисс Шницлер склеивала два куска карты вместе. Эсти наблюдала за мисс Шницлер, наслаждаясь ее спокойной сосредоточенностью и замечая, как ее лоб морщился, когда она клеила кусочки скотча. Наконец, Эсти держала карту около стены, а мисс Шницлер прикрепила на нее кнопки.

Эсти посмотрела на конечный продукт. Разрыв был едва заметен; она видела его только потому, что знала, где смотреть. Карта была круглая, темный круг с несколькими белыми точками. Было похоже на горстку муки, брошенную на черную землю. Некоторые точки были большими, некоторые – маленькими.

- Что это? – спросила она. – Что на ней изображено?

Мисс Шницлер подошла на шаг ближе и улыбнулась.

- Это карта звездного неба. На ней изображены положения всех звезд в нашей галактике.

- Красивая.

- Да. Это создание Всевышнего. Помните историю? Он подарил луне звезды, чтобы они были ей сестрами и товарищами.

Эсти кивнула. Она медленно дышала.

- Это, - сказала мисс Шницлер, - звезды, которые видны нам с того места, где мы находимся. У всех них есть названия.

Мисс Шницлер стояла близко к ней. Эсти чувствовала легкое дыхание молодой девушки на своей шее, когда та называла имена звезд.

- Это Сириус, - сказала она, - собачья звезда. – Эсти кивнула, не смея двинуться или ответить. – А это Проксима Центавра, самая близкая к Земле звезда. Кроме солнца, конечно.

Эсти прошептала:

- Солнце — это звезда?

- О, да. Оно кажется нам чем-то большим, чем-то уникальным. Но на самом деле, это просто одна из сестер луны. Она даже не самая яркая. Полярная звезда, вот эта, намного ярче.

Мисс Шницлер показала рукой. Она слегка задела рукав Эсти. Показывая на звезду посередине карты, ее рука оказалась перед лицом Эсти. Ее ногти были белые и в форме идеального полумесяца. Эсти почувствовала, как неожиданно наполнилась разнообразными неожиданными желаниями. Она хотела подуть вдоль руки мисс Шницлер, увидеть, как приподнимутся крошечные волоски, или прикоснуться ко внутренней стороне запястья кончиком языка. Эсти хотелось схватить мисс Шницлер за руку, потянуть ее вперед и прошептать в ее ухо: «Ты не должна всего этого делать, ты же знаешь. Ты не должна выходить замуж. Ты не должна уходить из школы. Никто не будет тебя заставлять, если ты просто продолжишь говорить “нет”».

Так прошло мгновение. Эсти чувствовала запах кожи мисс Шницлер: сухой как песчаная почва, соленый как море. Она резко отступила в сторону.

- Мне надо идти, - сказала она. – Я опаздываю, извините, мне надо идти.

Она собрала свои книги и выбежала из кабинета, прижимая их к себе. Она глядела вниз, строго вниз, а не на мисс Шницлер.

Эсти шла домой. От школы до ее дома было полмили; это была приятная прогулка. День был болезненно теплым, несмотря на поздний сезон. Эсти хотела снять кардиган, но вовремя вспомнила, что под ним на ней была блузка с короткими рукавами. Невозможно. Она даже не знала, почему купила такой нелепый предмет одежды. Если она снимет кардиган, ее локти будут открыты прямо на улице, кто угодно сможет увидеть и прокомментировать. Было очень тепло, а шла она очень быстро. Она не понимала, почему шла так быстро, она не понимала, почему ей казалось, что надо идти медленнее. Она не позволила себе тщательно исследовать ни одну из этих мыслей.

Ей казалось, она очутилась дома слишком быстро. Она медленно подошла к нему, наступая на каждую трещинку на тротуаре. Пятка, носок, пятка, носок. Она смотрела на свою обувь: кожаные коричневые туфли со шнуровкой. Один носок был потерт. Надо бы его начистить. А тротуар; такой захватывающий. Когда она в последний раз замечала, что в трещинах на нем растут ярко-зеленые трава и мох? Она когда-нибудь обращала внимание, что некоторые камни отличались по цвету от других: были песочно-коричневыми, а не серыми? Она стояла перед своим домом, глядя на него с подозрением. Что-то поменялось? Неужели он немного сместился с того момента, как она ушла в школу утром? Наверняка он за это время принял другую форму, различимую не измерениями, а только самым пронизательным взглядом. Ей непременно стоит обойти квартал по кругу и вернуться к дому снова, застав его врасплох.

Она начала идти. И остановилась. Обернулась. За ней не следят? Один из соседей или кто-то внутри ее собственного дома? Она вернулась на несколько шагов назад и снова

остановилась. Ей неожиданно захотелось обежать вокруг дома и показалось, что эта необходимость поглотит ее. Она потеряла глаза костяшками пальцев, пока не увидела красно-зеленые узоры.

- Я устала от тебя, - сказала она самой себе, открыла ворота и направилась ко входной двери.

Ой, она совсем забыла. До тех пор, пока она не увидела возле входа нагромождение из спортивных сумок, пальто, тканевого мешка и трех чемоданов, она забыла, что вместе с Ронит прилагались предметы, тысячи вещей, каждая со своей отдельной важностью в ее жизни. Что про каждую вещь у Ронит будет история, и насчет каждой вещи у нее будет мнение, громкое и яркое. Эсти стояла, улыбаясь, в коридоре, впитывая в себя все, что было в пределах поля ее зрения и касалось Ронит. Она посмотрела на журналы, книги, карандаши, торчащие из сумок, и попыталась исследовать каждый по отдельности. Ей думалось, что важно запомнить каждую мелочь.

Из гостиной послышался звук движения. Звук опустившегося стеклянного стакана, тихий смех. Звук стульев, отодвигающихся от стола. Это слишком быстро, она не готова. Есть время убежать? Нет. Дверь гостиной открылась.

И там была Ронит. Она была такой, какой ее помнила Эсти, и не только. С одного взгляда было понятно, что она больше здесь не жила; она была как неожиданно найденный экзотический цветок, пытающийся пробиться через тротуар. Она была жизнерадостно величественна, одетая, как женщина из журнала или с плаката: большая грудь, затянута под пуговицы красной рубашки, изгибы ее тела, подчеркнутые длинной черной юбкой. Эсти смотрела, поглощая это зрелище, сначала засматриваясь на один элемент, потом на другой. Да, это Ронит. Черные глаза, черное каре, темная кожа, полоска красной помады и неодобрительная улыбка.

- Эсти, - сказала она. – Рада тебя видеть.

Эсти вдруг почувствовала себя перегруженной необъятностью событий. Она здесь. После такого долгого времени. Здесь. Ронит видела Довида, знает, что он женился. Нужно что-то сказать об этом, дать какое-то объяснение. Она чувствовала себя рассеянной. Ронит смотрела на нее. Ронит, здесь, смотрела на нее и прекрасно видела, что Эсти морщит лоб и дергает плечами, как будто пытается избавиться от кожного раздражения. Пора было уже что-то сказать. Требовалось объяснить всю ее жизнь. Привести причины всему, что произошло за последние восемь лет. Что она могла сказать, что объяснило бы все это? Наконец, она решила.

- Ронит, - сказала она. – Извини. Извини, пожалуйста. – Сожаление, пропитавшее кожу.

Ронит спросила:

- Что?

Довид выручил ее. Она совсем забыла о его присутствии. Он предложил им поужинать. Может, нужно было что-то подогреть? Это крайне неправильно, вдруг подумала она. Это должен был быть пышный пир, тридцать блюд, венки из цветов, сорбеты между блюдами, двадцать видов курицы и сорок разных рыб. Она разогрела говяжье рагу из морозильника и подала его с овощами и рисом.

- Извини, - сказала она снова.

- Эсти, - сказала Ронит с уже набитым ртом, - может, ты прекратишь извиняться, сядешь и поешь? Это очень вкусно.

Она была потеряна. Она не могла придумать, что сказать, кроме извинений. Она заметила, что кувшин с водой опустел, и отнесла его на кухню.

- Ты же знаешь, ты не должна нас обслуживать! – крикнула ей вслед Ронит, оставаясь на месте.

Ронит и Довид говорили о синагоге, о планах на будущее.

- Итак, я помню, что ты говорил, Довид, но только между нами, - сказала Ронит, помещая рагу на свою тарелку, - они хотят, чтобы ты был новым Равом, да? – Она улыбнулась одной стороной рта. – Что скажешь, Довид, хочешь быть новым лидером?

- Что? – Довид казался удивленным. – Нет, нет. Я не... В смысле, это не... Я имею в виду... - Он яростно потряс головой. – Они найдут кого-то более подходящего для этой роли. Мы не... В смысле... Не будем, правда, Эсти?

Эсти продолжала молчать. Ронит улыбнулась:

- Запомни мои слова, Довид. Ты будешь их главным кандидатом.

Эсти гоняла еду по тарелке. Она не могла заставить себя ничего съесть, но надеялась, что остальные не заметят. Она знала, что должна что-то сказать. Она мысленно выбирала и отметала темы для разговора. Можно ли обсуждать еду? Нет, Ронит не заинтересуют домашние дела. Синагогу? Довид в этом большой эксперт. Школьных учителей? Нет, нет, точно не это, но может школу?

Довид сказал:

- Я слышал о молодом парне из Гейтсхеда, вообще-то, талантливый ешива бохур...

Эсти вмешалась.

- Ронит, помнишь старые научные кабинеты в школе?

Ронит и Довид посмотрели на нее. Ронит ответила:

- Э-э. Да.

Эсти сказала:

- Они сносят здание, вот что я хотела сказать, они его сносят; Д-р Хартог собрал деньги на новое здание, через дорогу. Разве не смешно? Девочкам придется переходить через дорогу, чтобы попасть на урок химии.

Ронит и Довид еще недолго посмотрели на нее.

Эсти быстро встала, почти опрокинув стул на пол. Она подняла свою тарелку и протянула руку за тарелкой Ронит.

- Вообще-то, я еще не совсем закончила.

Эсти моргнула и провела рукой по лбу.

- Нет, нет, конечно нет.

И занесла свою тарелку на кухню. Не имея возможности видеть, она слушала журчащую беседу Ронит и Довида. Она поставила тарелку в раковину слева – раковину для мясной посуды – и включила горячую воду, наблюдая, как жирные остатки начинают отлипать от тарелки. Она опустила правую руку под воду. Она была слишком горячая. Она немного подержала руку в воде. Через какое-то время она вернулась и подала десерт.

Довид и Эсти уже давно не спали в одной кровати. Две кровати в их спальне оставались разъединенными уже несколько месяцев, хотя между ними не находилось никаких объектов. Довид, в любом случае, в последние месяцы часто спал в доме Рава, чтобы, в случае чего, помочь старику ночью. Они не говорили об этом.

Эсти часто не могла заснуть. Обычно она лежала без сна, наблюдая за световыми узорами, которые появлялись на потолке спальни от изредка проезжающих мимо машин. В эту ночь она не могла спать. Она думала о Ронит, которая спала прямо за стеной от нее. Она думала, снова и снова, о том, как она выглядела, насколько лучше сейчас, чем в ее памяти, какая она была созревшая, в то время как сама Эсти сжалась. Она поняла, что тяжело дышит. Она не знала, хочет она заплакать, засмеяться или сделать что-то еще, что-то совершенно неожиданное. Она думала о Ронит в соседней комнате. Она осознавала, что желает нечто, чего не должна желать.

Она медленно села на кровати и опустила ноги на пол. Она прошла в другую часть комнаты и мягко произнесла имя Довида. И потом она приподняла одеяла, забралась к нему и возжелала его, а он возжелал ее в ответ.

В общем, идя спать, я чувствовала заслуженное спокойствие. От меня – никаких резких движений, абсолютно. Никаких приступов паники, неловких пауз, выкриков: «Эсти! Ты замужем! За мужчиной!» Не хочу сказать, что я была шокирована. Мы с Эсти расстались не лучшим образом, но когда-то у нас все было по-другому, нежнее. Она тогда была другой, не такой странной. Глядя на нее этим вечером, было почти невозможно мимолетно представить девушку, которой она когда-то была, в этой худой, неуклюжей женщине, которой она стала. Только раз или два, когда она сидела, слушая мой разговор с Довидом, я неожиданно видела в ней ту девушку, которую я знала. Это было странно. По большей части она казалась еще одной усталой, выдохшейся домохозяйкой Хендона, и неожиданно, не в ее движениях, а в ее неподвижности я видела ту Эсти, которую помнила. Наблюдая за ее спокойствием, я обнаружила, что четко помню, как она смотрела меня, когда я склонялась над ней, как ее взгляд был намного выразительнее, чем все мои слова. Как будто я могла снова почувствовать ее сладость и все, что между нами было.

Я рано уснула, уставшая после смены часовых поясов, растянувшись на прохладной

постели. Мне снилось что-то яркое и блестящее. Что-то связанное с закрытыми ящиками и запертыми дверьми, ключами, отвертками, топорами. Мне снилась ржавчина десятилетней давности, хлопьями отслаивающаяся с петель, и защелки, отодвигающиеся с визгом. В этом было мало смысла – просто цикл бессвязных изображений.

Я проснулась, тяжело дыша от жары. Часы сообщили, что было три часа ночи, мое тело считало, что было десять вечера, а мозг просто недоумевал, где я. Я включила свет и оглянулась. Я ничего не осмотрела прежде чем пойти спать, просто обнаружила взглядом гостеприимную кровать и утонула в ней. Все было старым, потертым и плохо сочеталось. На обоях был какой-то узор из семидесятых с коричневыми и оранжевыми завитками, комод был из коричневого меламина. Я спала на кровати с дряблым матрасом под покрывалом с выцветшим рисунком с героями фильма «Волшебная карусель», которое, я уверена, я видела в последний раз у Эсти на кровати, когда мы были детьми. Мои чемоданы заняли почти все свободное место на полу, к счастью, закрывая ковер: зеленые и синие пятна на сером фоне. Меня не должны волновать эти вещи, я знаю, не должны. Но они меня волнуют.

И пока я сидела в тишине, я слышала звук, очень характерный звук из соседней комнаты. По другую сторону стены, возле которой я находилась, кровать издавала слабое, ритмичное «скрип-скрип, скрип-скрип». Снова и снова.

- Боже милостивый, - сказала я комнате.

- Скрип-скрип, скрип-скрип, - сказали старые ржавые пружины за стенкой.

Мне нужно было выбраться из этой комнаты, из этого дома, и, возможно, из этой страны. Кроме этого, мне нужна была сигарета.

Я натянула одежду, схватила сумку и вышла из дома, закрыв за собой дверь. Ночь была холодной, ясной и вкусной после надоедливой теплоты дома. Было абсолютно тихо, не считая свиста изредка проезжающих мимо машин на соседней улице. Порывшись на дне сумки, я нашла скомканную пачку сигарет. Когда я поднесла одну к губам и выудила зажигалку, я поняла, что трясусь. Не дрожу, а трясусь. И я подумала, черт, это будет труднее, чем я полагала. Я зажгла сигарету и затянулась.

Я вообще-то не курю. Только на вечеринках иногда украду у кого-нибудь сигарету и обычно ношу несколько с собой в сумке на случай, если, идя по улице, захочу почувствовать себя одной из нью-йоркских женщин, что носят сапоги на высоких каблуках и курят сигареты.

Я шла и курила, как одна из тех независимых женщин. И, наверное, прохладный воздух, прогулка или курение вернули меня к самой себе. Хоть я и думала, что знала Эсти лучше, чем кого-либо, очевидно, я ошибалась. Все сошлось. Я потушила первую сигарету и зажгла вторую. Я улыбнулась. Все эти годы я твердила, какое здесь все ненормальное, какие безумные эти люди, и смотрите, я была права. У Д-ра Файнголд даже было бы объяснение для Эсти: социальное давление, нормативные ожидания, бла-бла-бла. Но это не мое дело. Эсти – взрослая женщина, сама разберется, с кем ей спать. У меня здесь простая миссия, не нужно ее усложнять. Все, чего я добиваюсь, - это разлаживаю людям жизнь, скорее всего, напоминая Эсти о том, что она хотела бы забыть. Вообще-то, я полагаю, в этом причина ее странного поведения вчера. У кого не было парочки вещей в прошлом, которые он с удовольствием забыл бы? Приехала, уехала, вернулась обратно в Нью-Йорк.

Смешно, но, занятая курением и мыслями, я почти прошла мимо него. Я очнулась, только увидев неровное место на тротуаре, где медленно и настойчиво пробивался корень дерева. Не просто какой-то корень дерева, а тот самый корень дерева. Этот корень – часть

меня. Я споткнулась об него, когда мне было тринадцать, упала, ударилась и умудрилась порезать локоть. Корень был весь в моей крови. Его маленький кусочек все еще где-то глубоко у меня под кожей. Скот однажды про него спросил. Я остановилась, чтобы посмотреть на корень, и вспомнила, где нахожусь.

Я посмотрела налево – и вот он, дом, в котором я выросла. Я ожидала, что почувствую, не знаю, что-то большее, чем чувствовала, но я всего лишь рассматривала его с отчужденностью агента по недвижимости. С карнизов окон отслаивалась краска. Одно из стекол во входной двери было разбито. Дом был тише, чем остальные, более одинокий и зияющий. Я думала, мне показалось так из-за того, что я знала, но вскоре я поняла, в чем была разница: все окна были не занавешены и смотрели на улицу, пустые, отсутствующие. Я посмотрела на связку ключей в своей руке и подумала: все правильно. Пришла эта ночь.

Я открыла ворота, с них посыпались зерна ржавчины и краски. Я прошла по сырому, пахнущему росой проходу возле дома на задний двор. Я оглянулась на темный сад, пытаюсь рассмотреть его из-под струящегося с улицы света. Лужайка была заросшая и неопрятная – ее, возможно, не подстригали несколько месяцев, – но яблони были все там же, где я их запомнила, и огромный гортензиевый куст был все там же. Тогда я все же что-то почувствовала, совсем немножко. В глубине моей памяти загудело одно запертое воспоминание. Я посмотрела на куст. Я почти почувствовала запах гортензий посреди лета. Я вернулась в дом.

Я подумала, что, возможно, не вспомню, где на кухне выключатель, но моя рука нашла его. Свет зажегся, и сад растворился в темноте, невидимый и неизвестный. Увидев наготу кухонного стола, я улыбнулась. Он был гол и пуст, не считая поцарапанной вазы с завядшими хризантемами и соковыжималки для лимона, стоящих на нем. На полках виднелось несколько мисок и тарелок: голубые для молока и красные для мяса, конечно же.

Столовая была не лучше: обеденный стол и стулья, серебряный шкафчик (никаких подсвечников; я проверила). Гостиная тоже казалась почти пустой. Диван был разложен как кровать, заправленный простыней и одеялами. Стоял небольшой шкаф с ящиками, который я не помнила из детства, полный папиной одежды, аккуратно сложенной. В углу комнаты был кислородный баллон с пластиковыми трубами и оборудованием. Наверное, он здесь спал, когда стал слишком слаб, чтобы подниматься вверх. Помимо этого, в комнате был книжный шкаф с книгами, которые мой отец называл «светскими» – никаких романов, конечно, но в нем были атласы, словари, книги о природе. Я почувствовала неясное разочарование. Никаких эмоциональных прорывов, просто тусклый, пустой дом. Если он весь такой же убранный, как эти комнаты, возможно, я сегодня же найду подсвечники. Останусь на Шаббат из вежливости, вернусь в Нью-Йорк на следующей неделе.

Я открыла дверь с противоположной стороны коридора. Я остановилась и посмотрела. Я и забыла про это. Я не забыла кухню, столовую или гостиную, но я забыла книги. Они стояли от пола до потолка, вдоль всех четырех стен, закрывая даже окна, хотя темно-красные занавески были видны, свесившись между книжными полками. Ряды книг, кожаные черные, зеленые, коричневые и темно-синие корешки с золотыми названиями на иврите. Я узнала большинство названий; это были тома комментариев Торы, и комментариев этих комментариев, и последующие заметки о тех комментариях, и дебаты о тех заметках, и критика тех дебатов, и обсуждения критики. И так далее.

Оставшаяся часть комнаты была в беспорядке, большем, чем я помнила. Бумаги были перемешаны с наполовину выпитыми чашками кофе, ручками, не отвеченными письмами,

тарелками и вилками в качающихся кучах и развалившихся холмах на столе и полу. Но книги были в идеальном порядке. У каждой было свое место. Они стояли в безупречном алфавитном порядке, каждый том рядом со своим соседом. А-а, подумала я, вот и корень странности моей жизни. Я была довольна этим доказательством: в этом доме нет ни игровой комнаты, ни детской, ничего, только огромная, забитая, в два раза длиннее, чем остальные, комната для книг. Сколько там было книг? Я предположила, подсчитав книги на одной полке и умножив их на количество полок, - 5992, приблизительно. Интересно, прочитала ли я вообще 5992 книг за свою жизнь. Но ты и не должна была нас читать, пробормотали тихие книги, ты должна была выйти замуж и родить детей. Ты должна была привести в этот дом внуков. Ты это сделала, своенравная непослушная дочь? Тихо, сказала я. Замолчите.

Вот в чем проблема, когда ты вырос в еврейском ортодоксальном доме, с этими древними историями, в которых свитки Торы ведут друг с другом дебаты, у букв алфавита есть личность, а солнце спорит с луной. Ты наконец начинаешь верить во все это одушевление. Часть меня верит, что книги могут говорить. Не удивляется, когда они это делают. И, естественно, книги в доме моего отца очень придиричивы. Я слышала, как они в той комнате шептали друг другу: никаких внуков, говорили они, и даже без мужа. Только занятия египетских женщин. Никакой Торы в ее жизни, никакой добродетели. Я чувствовала себя нелепо.

Поэтому я пошла по единственному доступному мне маршруту. На кухне стояло радио. Мой папа слушал по нему новости, аккуратно включая его ровно в шесть вечера, а в шесть-тридцать выключал, доставал вилку из розетки и прятал обратно в ящик. Только когда я была в Нью-Йорке, я узнала, что многие радиостанции транслируют двадцать четыре часа в сутки и даже включают в свои программы музыку. Я знала точно, в каком ящике искать это радио. Я включила его и начала поворачивать колесико, пока не дошла до какой-то популярной музыки. Я слушала Бритни, Мадонну, Кристину, Кайли; какую-то женщину, которая громко пела неприличные слова. Я включила его на максимальную громкость, рассчитывая, из-за нескольких тысяч книг соседи ничего не услышат.

Я вернулась в кабинет. Книги молчали. Я начала работу.

В семь-тридцать утра я уже разобрала весь центральный стол и услышала каждую из двадцати лучших песен Великобритании раза три. Среди этих развалин не было подсвечников, но по крайней мере в комнате начал воцаряться порядок. Если честно, в процессе работы поиск подсвечников стал менее важным. Я получала удовольствие, наслаждалась чувством господства над своим прошлым, которое получала от этого упорядочивания. Каждый поставленный на место или выброшенный предмет – это еще один дюйм, отвоеванный у моего отца. В дверь позвонили.

В дверях стояла религиозная женщина в большом светлом шейтеле с красно-оранжевой помадой и небольшим количеством туши на ресницах. На ней было стильное сочетание черно-фиолетовой блузки и длинной черной юбки. Глядя на нее, я подумала: вот какой наряд мне надо было надеть.

Она говорила быстро, как и все они, и вот что я едва разобрала: она говорила что-то насчет уборки и Хартога. Я сказала:

- Прошу прощения?

Она начала говорить медленнее.

- Хорошо, что Вы начали так рано. Д-р Хартог сказал Вам, что нужно убрать, а что мы

сделаем сами?

Я ответила:

- Э-э. Я не уборщица.

Озадаченная, она сделала паузу. Я сказала:

- Я дочь Рава. Ронит.

Она уставилась на меня.

- Ронит? Ронит Крушка?

Я кивнула.

- Это я! Хинда Рохел!

Я кивнула. Ну конечно. Я помню Хинду Рохел со школы.

- Хинда Рохел Стайнмец?

Она просияла и помахала мне левой рукой.

- Теперь Хинда Рохел Бердичер. Знаешь, - сказала она заговорщически, — я тебя не узнала в этих штанах и с такой короткой стрижкой!

В ее голосе было то ли обвинение, то ли просто вопрос.

- Да, - сказала я. — Сейчас я другая.

Она подождала. Она ожидала чего-то большего, чем это, я знала. Но она этого не получит. Мгновение спустя она снова засияла.

- В любом случае, очень рада тебя видеть.

Она меня обняла. Это были строгие объятия, но теплые. Она отстранилась и наклонила голову в одну сторону.

- Я очень сожалею о твоей потере. Желаю тебе долгой жизни.

Я никогда не знаю, что на это отвечать. Я помню, давно, когда моя мама умерла. Тогда я тоже не знала, что на это отвечать.

- Я тут прибиралась. — Я закатила глаза. — В этом доме столько мусора, не описать. Уборка в одном только кабинете займет два или три дня. Но, - я опустила руки на бедра, - думаю, если поработаю сегодня до вечера, я здорово продвинусь.

Хинда Рохел скривила рот в судороге.

- Не до вечера, - сказала она. — Шаббат. Сегодня Шаббат. Разве что... Ты больше не...

Я могла бы сказать: да, я больше не. Я могла бы сказать: шаббат, что за ерунда, как это странно — позволять Богу задира́ть тебя, ограничивая твое поведение в один день недели до кратчайшего списка возможностей.

Я провела рукой по лбу. Я ухмыльнулась, как будто немного смутилась.

- Пятница, конечно же. Совсем забыла, какой сегодня день, с этими часовыми поясами. Сегодня Шаббат, конечно же.

Хинда Рохел улыбнулась, но у меня внутри появилось странное, пустое ощущение, неожиданное растворение всего удовольствия, которое мне принесла уборка в папином кабинете. Мне захотелось взять обратно те слова, что я сказала Хинде Рохел. Но я ничего не сказала.

===== Глава пятая =====

Глава пятая

Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, мудрый в тайнах.

Благословение, которое произносят при виде большой группы евреев

Некоторые считают секреты преступными. Если правда невинна, твердят они, почему бы ее не раскрыть? Само существование тайны говорит о злом умысле и правонарушении.

Все должно быть открытым, незащищенным.

Но почему в таком случае Бог – не только Бог правды, но еще и Бог тайн? Почему написано, что Он прячет Свое лицо? Этот мир – маска, маска скрывает лицо, и лицо тайно, потому что только в судный день Всевышний откроет нам Свое лицо. Нас учат, что, если Бог приподнимет только маленький уголок своей вуали и покажет нам малейший проблеск Его правды, мы ослепнем от яркости, цвета и боли.

Из этого мы учим, насколько это поверхностно – верить, что все должно быть известно и открыто. Мы можем наблюдать это в нашей жизни. Как часто нам делают больно те, кто заявляют, что «говорят только правду»? Не все правдивые мысли должны быть высказаны. Как часто мы свидетельствуем, как другие унижают свое достоинство, раскрывая свои эмоции, переживания и даже неприкосновенные части тела, когда на это не должны глазеть все подряд? Не все существующее должно быть видным.

Чем мощнее сила, чем более священно место, чем больше правды в мудрости, тем больше они должны быть личными, глубокими и доступными только способным их постигнуть. По этой причине каббалистические тексты должны содержать ошибки, чтобы только люди, обладающие достаточными знаниями, могли постичь их тайны. По этой причине женщина скрывает свои посещения миквы даже от самой близкой подруги, чтобы ее внутренние ритмы и циклы оставались личными. По этой причине священный свиток Торы оборачивают в бархатные одеяния.

Не стоит спешить открывать двери и освещать потайные места. Те, кто постиг тайны, говорят не только о красоте, но и о боли. Некоторые вещи не должны быть видимыми, а слова – произнесенными вслух.

- Естественно, сейчас мы должны подумать, - сказал Хартог, - про хеспед, собрание для оплакивания умершего. – Положив руку на перила вокруг бимы, он тяжело дышал и взглядом исследовал пустую синагогу. Ряды стульев и аккуратные книжные полки были подготовлены к шаббатному служению, которое произойдет немного позже.

Довид закрыл глаза. Он проснулся с головной болью. У него часто были головные боли – не всегда изнурительные, но всегда не поддающиеся никакой комбинации таблеток, - что неизбежно окрашивало его день потоком краски. Эта боль была ярко-голубая. Щупальца льда подкрадывались к его левому виску. Они погладили его щеку с отвратительной нежностью. Один начал исследовать его ухо, и сперва боль была резкой, но постепенно стала глубокой и тупой. Его лицо сохраняло спокойствие; показав дискомфорт, он их только приободрит.

Открывая глаза, он понял, что Хартог ожидал ответа. Он говорил про... хеспед? Нежный голубой щупалец дотронулся до его левого глаза. Довид заставил рот говорить, отметив его резиновую эластичность.

- Хеспед? Да, конечно. Я не думал...

Хартог был прав. Похороны были чем-то тихим и приватным, как положено. Кости и кровь должны вернуться в землю, как только душа покидает их. Но для такого лидера, как Рав, необходим хеспед в конце тридцати дней скорби. Должны собраться все, знавшие его, чтобы восхвалить и превознести его память.

- Разослать приглашения? – спросил Довид. Он бросил взгляд на стулья за перилами. Он хотел предложить сесть, но не знал, не сочтет ли Хартог это неуважительным по отношению к памяти Рава. Ледяные пальцы давили все сильнее. Левый глаз Довида гудел от боли,

сотрясая его лицо каждый раз, когда он моргал. Было сложно сосредоточиться на словах Хартога.

- Предоставь это мне, Довид, - улыбнулся Хартог. – Не стоит себя этим утруждать. Но есть кое-что.

Хартог сделал паузу. Голубой щупалец пробрался ко второму глазу и издавал скрипящий звук, дотрагиваясь до него. Звук был тихим и тошнотворным. Хартог будто не замечал его.

- Довид, ты должен произнести речь. – Довид молчал, поэтому Хартог продолжил. – Ты должен выступить на хеспеде.

- Я не... - начал Довид. – Я недостаточно подхожу для этой роли. Кто-то из гостей выступит, не так ли?

- Совершенно верно. Но тем не менее, как ты прекрасно знаешь, ты должен дать речь.

Довид схватился за перила. Холодный щупалец сильнее схватил глаз. Глаз был хрупкий, покрытый льдом. Довид произнес быстро:

- Нет. Не думаю. Будет много других...

- Никто из них не знал его так, как ты, Довид, - улыбнулся Хартог.

Довид почувствовал тошноту. Сделав два медленных глубоких вдоха, он неподвижно смотрел на темно-красный ковер под ногами. Казалось, это занятие отвлекало его от давления в его глазах, и он чувствовал небольшое облегчение. Все еще глядя вниз, он сказал:

- Я не Рав. Эти люди...

Хартог перебил его:

- Эти люди хотят непрерывности. – Хартог поджал губы и подошел на полшага к Довиду. – Я правда не понимаю, почему такая простая просьба кажется тебе проблематичной. Рав, да будет благословлена его память, ушел. Для общины, может, это и шок, но мы с тобой знаем, что это ожидалось последние несколько месяцев. Ты не можешь, несомненно, быть удивлен, что сейчас с тебя спрашивают эти обязанности. Пора принять помещенную на твои плечи ответственность. Мы не можем без Рава.

Довид опустил голову, схватившись за шею от боли. Ледяной щупалец надавил на глаз, висок, щеку и шею. С громким хрустом щупалец проник внутрь. Его глаз будто раздробился на кусочки. Его поле зрения пересекали белые линии. Кобальтовый завиток гладил то одну сторону лица, то другую, с каждым разом разрезая мышцы и нервы все тоньше.

Речь Хартога казалась медленной, а его черты – напряженными и странно искаженными. А, подумал Довид, снова оно. Мерцающие желтые пятна заслонили лицо Хартога, пока цвет не стал настолько сильным и ярким, что были видны только его глаза. Довид почувствовал в ушах коварный желтый стук.

Довид раньше проходил через подобное. Это началось, когда ему было тринадцать, в год его бар-мицвы. Головные боли, которые ранее томились под поверхностью, начали распускаться, одна за другой, принося с собой целый оркестр цвета и тошнотворную яркость.

Рав был на бар-мицве Довида в Манчестере, говорил с ним один-на-один примерно час, спрашивал его об учебе и проверял его знания. А летом, когда учебный год закончился, Рав предложил родителям Довида отпустить его провести время в Лондоне и поучиться с дядей. Довид понимал, что это значит. У Рава было еще семь племянников, и он был на бар-мицве каждого, но никого не пригласил в Лондон на лето. У Рава не было сыновей, только дочь. Он

был большой знаток Торы; ему важно было иметь наследника, кого-то, кому он передаст свои знания.

Довид понимал, что его подготавливали, что этот выбор – особая честь. Он очень старался. По утрам Довид проводил четыре или пять часов за длинным столом из темного дерева в кабинете Рава, и там они учили Гемару; Рав объяснял ему сложные слова или понятия тихим низким голосом, а запах кедрового дерева и старых книг щекотал Довиду ноздри. В полдень он готовился к урокам следующего дня в своей комнате с толстым томом на столе, подпертым большой банкой слив, которую он нашел на кухне. Он переживал, можно ли использовать таким образом банку: не слишком ли она нечестивая, чтобы дотрагиваться до Гемары? Но, наверное, лучше было подпереть книгу чем-нибудь, чем поставить просто так, чтобы она упала? У него был постоянный ноющий страх, что Рав неожиданно явится в его комнату и обнаружит подставку из банки слив. Он тщательно вслушивался в звук шагов. Чаще всего это была Ронит, а не Рав.

Ей тогда было восемь лет, и она была слишком энергичная и буйная для тихого дома Рава. Этот дом был местом для медитации и размышлений, ну, еще для дебатов насчет слов Торы. Ронит, казалось, не понимала, что повышенный голос и страстные споры должны быть разрешены только для вопросов по Торе, и что в других ситуациях они были неприемлемы. Она выкрикивала каждую мысль, что приходила ей на ум. «Я голодная!», «Я устала!» или «Мне скучно!». Последнее случалось чаще всего. Она не могла развлечь себя сама, и как только она обнаружила, что Довид принимает участие в ее играх, она отказывалась играть без него. Она придумывала игры, в которых она всегда была героем, а Довид – негодяем или лучшим другом. Он был Ицхаком, когда она была Авраамом, радостно поднимая над ним линейку вместо жертвенного ножа, пока Божий ангел не останавливал ее руку. Или он был Аароном, а она, будучи Мойше, ударяла палкой по скалам, а после хмурилась на них, поскольку они не произвели воды. Или он был Голиафом, а она, как молодой пастух Давид, кружила, подбирая камушки и складывая их в носовой платок. В этом случае, спустя какое-то время ей казалось, что роль Голиафа лучше, и играла за обоих, сначала изображая евреев, а затем становясь их бесстрашным защитником. Весь полдень, изучая в комнате Гемару, Довид слышал, как она кричала:

- Тебе никогда не победить меня!

И отвечала самой себе:

- Нет, Голиаф, я покараю тебя и отрублю тебе голову!

Во время одной из таких игр у Довида впервые случился такой приступ. Боль гудела вокруг его головы с утра, пытаясь приземлиться. Лежа неподвижно на кровати, он отгораживался от нее тенью и тишиной и стакан за стаканом пил воду. Но Ронит вытащила его навстречу ослепительному полдню. Она должна была быть Гидоном, а он – одним из неверных солдат, покидающих войско, не дождавшись последней битвы. Он стоял, ожидая ее команд, и чувствовал, как боль опускалась ему на плечи, прежде чем перейти на шею, а потом в череп, словно чернильное пятно, просачивающееся на бумагу. Его череп, мягкий и тяжелый, начал разрушаться. Вся жара этого дня сконцентрировалась в одно лучистое, раскаленное добела пятно над его левым глазом. Трава, яблони, гортензии стали болезненно яркими, цвета были слишком насыщены и тошнотворны. Неожиданно Ронит окружил рой фиолетовых искр с металлическим вкусом, летающих словно угольки. Ловя воздух ртом, он упал.

Они переживали за него. Ронит побежала звать на помощь. Уборщица уложила его в

кровать. Прохлада подушки поглотила его ледяным спокойствием; ему хотелось облизнуть его, как мороженое, но он не мог шевельнуться.

На следующее утро, проснувшись, он увидел у своей кровати Рава, неудобно пристроившимся на стуле в маленькой комнате. Теперь Довид понял, что, возможно, Рав боялся за его здоровье. Будучи ребенком, Довид чувствовал себя униженным в его присутствии, стыдясь слабости своего тела. Его мысли были хаотичными, даже в то утро. Банка слив была отставлена в сторону, а Гемара закрыта. Довиду было интересно, кто это сделал, но не мог сосредоточиться на этом вопросе; его внимание занимали мелкие детали. Он замечал невероятную голубизну вен на руках и запястьях Рава, маленькую полукруглую паутину, застилающую угол окна, белую отметину на левой штанине Рава. В то утро они учились только один час. Рав вел занятие медленнее обычного, осторожно спрашивая Довида, все ли он понимал.

По прошествии часа, Рав закрыл книгу. Довид подумал, он уйдет, но нет. Сначала он просто сидел несколько минут молча. После снял очки и надавил большим и указательным пальцами на переносицу. Наконец он сказал:

- Расскажи мне что случилось вчера. Все подробности, пожалуйста, как можно точнее.

Довид попытался объяснить: головная боль, жара, фиолетовый цвет. Рав наклонился, вслушиваясь, и попросил повторить, медленно, описание того, что Довид видел вокруг Ронит. Сказал, чтобы Довид не торопился. Ему казалось, что цвет исходил от самой девочки, или он был вездесущим? Он что-нибудь слышал, может, голос? Какой он чувствовал вкус? Насколько ярко? Он уверен, что ему не показалось? Или не приснилось?

Довид снова представил сцену у себя в голове: фиолетовый рой, резкий металлический вкус.

- Нет. Я это видел. Мне это не приснилось. – Он приостановился, а потом сказал: - Я боялся. – Он подумал, не сделал ли он что-нибудь не так. Попросил стакан воды. Рав налил ему воды из кувшина, стоявшего возле кровати, Довид жадно его проглотил. Капля воды потекла по его подбородку. Ему было стыдно вести себя так перед Равом. Но, подняв взгляд, он увидел, что глаза Рава закрыты.

Наконец, после долгой паузы, Рав открыл глаза, сжал бледные губы и начал говорить.

- Довид, - сказал он, - для души это очень коварное испытание. Но не стоит бояться. Тора и наши мудрецы упоминают о таком.

Довид был очень тих.

- Мы знаем, что, когда наши праотцы получали Торы на горе Синай, Бог говорил с ними прямо, лицом к лицу. – Вдруг улыбка засияла на его лице. – Представляешь? К тебе обращался Сам Святой, Благословен Он! Мудрецы говорят, что люди были потрясены таким зрелищем: одно чувство смешивалось с другим. Сыновья Израиля видели слова. Они чувствовали их вкус и запах. Они слышали цвета и видели звуки. Столкнувшись с таким нечеловеческим испытанием, они падали в обморок.

- Рамбам также говорит о людях, имеющих способность видеть душу – нешаму. Нешаму мы получаем от Бога, она – часть Его света. Поэтому, в случае, когда она видна, это непременно свет, или цвет, что, по идее, одно и то же. Возможно, именно это ты и видел, Довид.

Довид понял, что слышит собственное дыхание, мягкое и ритмичное, в тишине комнаты. Рав закрыл книгу на своем колене и поцеловал ее. Он провел плоским, бледным пальцем по золотым буквам на обложке. Довид наблюдал, как желтый острый ноготь

двигался вдоль двух букв «бет», а потом по «hey», буква за буквой.

Рав сделал долгий вдох и тихо сказал:

- Будь аккуратен с тем, кому ты об этом рассказываешь, Довид. Об этом не стоит кричать в парке. Я позвоню твоим родителям и объясню, что случилось. – Он встал, держа книгу в руках. – Думаю, тебе стоит приходить чаще. – После кивка он добавил: - Да, думаю, так будет лучше всего.

Лежа в кровати и чувствуя головокружение при попытке встать, Довид думал о себе в новом свете. Этот опыт не казался ему ни подарком, ни благословением; боль была слишком сильна. Он подумал о своих четырех братьях дома, о том, как долго можно держать это в тайне от них. Он представил, что будет, если он упадет в обморок при них, или в школе, или в синагоге при других мальчиках. Он всегда был тихим, не одним из тех, кто бегал по коридору и дрался, но это было что-то другое. Впервые в жизни Довид боялся видеть других и находиться среди них.

Через пару дней, когда ему стало лучше и он мог выйти на улицу, Ронит попросила его рассказать, что случилось. Он колебался, но она настаивала, и он решил, что дочери Рава можно рассказать. Он описал свою головную боль, головокружение, неожиданный взрыв чувств. Он описывал довольно смутно, боясь, что Ронит испугается или расстроится. Она смотрела на него большими глазами, и он забеспокоился, что она начнет плакать. Через пару мгновений она воскликнула:

- Ты волшебник! – По ее лицу пробежалась ухмылка. – А я – фиолетовая! – И она затанцевала вдоль выжженной лужайки.

Когда Довид вернулся на следующий праздник, и на еще один, Ронит часто донимала его, просила сказать, какого цвета все другие люди. С месяцами он научился хранить свой секрет лучше, замечать признаки того, что он скоро упадет в обморок, и покидать комнату. Он придумывал отмазки, объяснения, отрицания. Тем не менее, Ронит, наблюдая за ним вблизи, понимала, когда он видел что-то. Когда видение проходило, она дергала его за рукав и спрашивала:

- Что ты видишь, Довид? Что ты видишь?

Довид моргнул. Он обнаружил, что опирается на перила возле бимы. Хартог озадаченно смотрел на него. Ледяные щупальца ушли. Глаз был цел. Желтый гул исчез. В голове колотило, но больше не было ничего.

- Все хорошо, Довид? Выглядишь бледным, - слова Хартога казались обвиняющими.

Довид вспомнил. Да. Хартог злился насчет... чего-то. Он не мог точно распознать воспоминание. Но он научился это скрывать.

- Да, да, это пустяк. Просто слегка болит голова.

Голос Хартога смягчился:

- Конечно, мы не должны решать это сегодня. Просто обдумай это. – Довид кивнул. – Тебе не стоит волноваться, что ты займешь более активную роль в общине, ты знаешь. Рав очень тебя уважал. Он хотел, чтобы ты был уважаем в общине тоже.

А, да. Сейчас все прояснилось. Хеспед. Хартог хотел, чтобы он дал речь. Потому что Рав хотел, чтобы он был «уважаем». Довиду было интересно, как у Хартога сформировалось такое мнение. Он был впечатлен его уверенностью.

- Кстати, вы с Эсти должны прийти сегодня на ужин. Не стоит быть одним, вам лучше

побыть в приятной компании.

Довида позабавила эта фраза. Приятная компания.

- Я не думаю, что мы сможем. У нас гость.

- Приводите гостя! – улыбнулся Хартог. – Моя жена всегда много готовит, ты знаешь.

Довид говорил медленно.

- Не думаю, что это хорошая идея, Д-р Хартог. Понимаете, наш гость... Это один родственник Рава...

Глаза Хартога стали ярче, а улыбка – шире. Он с силой хлопнул в ладоши.

- В таком случае, вы обязательно должны его привести! Это будет большая честь.

- Ладно. Уверен, мы сможем прийти.

Идя домой, Довид думал об Эсти, которая сейчас готовит. Он думал о том, что чем ближе Шаббат, тем громче тикают для нее часы. Он думал о Ронит и об абсурдных вещах в ее сумках – кроссовках для бега, штанах с завязками на поясе, мобильном телефоне и электронной книге. Он думал о том, как странно, что они были вместе. И о том, как, с другой стороны, нисколько не странно.

Он помнил, какой план когда-то был у них втроем. Ронит связывала их словами. Она говорила:

- Или мы все уезжаем, или мы все остаемся.

Она заставляла их повторять. В этих словах была ярость и уверенность. «Или мы все уезжаем, или мы все остаемся».

А в конце концов она уехала и обвинила их в предательстве.

В доме ее отца, перебирая очередную кучу бесполезного хлама, уже позабыв свой утренний сон (хотя мы знаем, что сон – одна шестидесятая пророчества), Ронит все еще не понимала. Но Довид знал: она поймет.

И был вечер, и было утро, день шестой. И когда солнце зашло, был Шаббат. Я почти пропустила его. Довиду пришлось прийти в дом моего отца и найти меня. Я яростно разбиралась с черными мусорными пакетами и упорядоченными грудями вещей, которых становилось все больше. Несмотря на напоминание Хинды Рохел, я совсем забыла о важности заката.

Стоя в дверях, Довид постучал по часам, улыбнулся и кивнул в сторону солнца, которое находилось низко над горизонтом.

- Пора, - сказал он. Он выглядел как-то по-другому. Мне вспомнилась игра, в которую мы играли, когда были детьми, когда мы притворялись, что разные люди были разных цветов. Мне почти захотелось спросить, какого я цвета.

Выбирая одежду на Шаббат, я думала о Хартогах. Они мне никогда не нравились, даже когда я была маленькой – он как-то смешно пахнул, а она носила шубы, из-за которых я чихала. Когда я выросла, я поняла, как они влияли на общину – неприязнь, переросшая в настоящую ненависть. Они богатые. Это не преступление, конечно. Но в мире ортодоксальных евреев северо-западного Лондона деньги могут означать власть. Они могут повлиять на выбор учебного плана в школе, выбор раввина в общине; они могут поддержать один магазин, разрешив ему подрезать другой, чтобы тот разорился. Деньги означают спонсирование только тех образовательных программ, в которых, хоть этого и не написано в

глянцевых брошюрах, женщинам нельзя учить Гемару. Деньги означают спонсирование таких людей, как тот парень на улице Нью-Йорка, который раздает листовки и завлекает. Все это, как и многое другое, Хартог делал.

К миссис Хартог, Фруме, у меня была особая ненависть, не сколько деловая, столько личная. Было время, когда я проводила у них каждое воскресенье. Мой папа разбирал дела в Бейс Дине, еврейском суде, до вечера, у домработницы был выходной, и я ходила к Хартогам сидеть там рядом с их состоятельностью и делать уроки. Фрума давала мне обед. Обеды получались у нее не очень. Ее пределом был сухой хлеб из холодильника и сыр. Она носила цокающие каблуки по дому, даже когда готовила еду, и всегда говорила мне, хорошо ли я выглядела. Чаще всего нет.

Что я ненавидела больше всего, так это то, как она говорила о моей маме. Например, «Ронит, твой маме не понравилось бы, что ты так ешь», или «Ронит, твоя мама не хотела бы, чтобы ты так громко кричала». Уже тогда я не верила тому, что говорила, и уже тогда это не вызывало у меня чувства вины.

Итак, ужин с Хартогами, и я на нем – незваный, неожиданный гость. Я выбрала облегающую синюю юбку с длинным разрезом с одной стороны и чувствовала решительное ликование.

Шаббат вошел в дом Эсти и Довида в сумбуре маленьких забытых деталей, вроде проверок, выключена ли плита, включена ли духовка. Я в этом не участвовала; этим процессом руководили Эсти и Довид, напоминая мне детей, играющих во взрослых, пока родителей нет дома. Я была зачарована происходящим; давненько я не наблюдала, как кто-то страдает этой своеобразной формой обсессивно-компульсивного расстройства. Все, абсолютно все должно быть готово перед Шаббатом, ничего нельзя оставить незавершенным. Эсти приготовила для меня пару свечей рядом со своими. Эта застенчиво предложила мне спичечный коробок, глядя вниз, и я подумала: «Какого черта?» и зажгла их. Я подумала о маминых серебряных подсвечниках, о блестящих листьях и ветках. И да, я немного это почувствовала. Это давнее ощущение: шаббатнее спокойствие.

Мы пошли к дому Хартогов. Я помнила его прекрасно: грандиозный, прячущийся за деревьями, расположенный на улице с другими большими домами. Все в нем было какое-то слишком большое: двери были выше, чем нужно, цветочные горшки по обе стороны двери были огромными, дверной молоток с головой льва – в два раза больше чем кулак.

Интересно, что Хартог пытался таким образом скомпенсировать. Я подумала об этом, а это значит, на моем лице была ухмылка, когда он, суетившись, подошел к двери – она все еще была на кухне. На нем был дорогой темный костюм с жилетом – сделанный на заказ в попытках скрыть выступающий живот, – и темная кипа, из-под которой виднелась лысина. Он слишком сильно пах дорогим лосьоном после бритья.

Удивительно, но сначала он будто меня не узнал. Он на мгновение посмотрел мне прямо в лицо, как будто думал, что, должно быть, меня знает. Или, возможно, чтобы убедиться в своей ужасающей мысли – я женщина, я не какой-то уважаемый раввин. Он сказал:

- Гуд Шаббос, Довид и Реббецин Куперман.

Д-р Файнголд наверняка назвала бы это отрицанием: он защищал свой разум от неприятной правды.

Итак, я протянула руку и сказала:

- Д-р Хартог, Вы, возможно, не помните меня. Я Ронит, дочь Рава.

Как будто мы познакомились однажды на вечеринке. О Боже. Если бы я прошла через все это, через все эти тридцать два года, только ради этого момента, то этого бы того стоило. Мужчина подпрыгнул. Он буквально подпрыгнул, как будто из моей руки исходил электрический ток. Я как будто слышала шипение и чувствовала запах паленых волос. Его лицо стало каким-то желтым. Он несколько раз открыл и закрыл рот, двигая мохнатыми бровями, как будто они пытались сползти с его лба. Он сказал:

- Рон... Э-э... Рон... Э-э... Мисс... Э-э... Мисс Крушка. Я не, я не... Я имею в виду, я не, я не, Довид не...

И он остановился. Он посмотрел на меня, потом на Довида. И я клянусь, я клянусь, из кухни не было ни звука, но он неожиданно сказал:

- Иду, дорогая!

И оставил нас стоять в дверном проеме.

Наступила тишина. Мы втроем стояли в куртках в просторном помещении с аркой возле входа. Из кухни доносилось какое-то бормотание. Довид выглядел ужасно виноватым. Эсти прошептала:

- Может, нам стоит уйти?

И я ответила:

- Думаю, все только начинается, не правда ли?

Эсти и Довид слегка улыбнулись, как тогда, когда мы были детьми. Мы сняли куртки, оставили их на одной из покрытых бархатом скамей рядом со столом из зеленого мрамора, прошли в гостиную и стали ждать. Все было точно таким же, как я помнила. Комната была красной: бордовый ковер, алые обои с повторяющимся золотым узором, темно-малиновые занавески. Огромные зеркала по обе стороны от мраморного камина, украшенные золотым узором, большие хрустальные урны на каминной полке и подоконниках, масляные картины в версальском стиле, не оставившие почти ни одного дюйма на стене открытыми – изображены на них, конечно, были цветы, а не обнаженные женщины, но такой стиль все равно говорил, что миссис Хартог воображала себя Марией Антуанеттой.

Я сидела в одном из узорчатых бархатных кресел и ждала. В конце концов Хартог и Фрума возникли из кухни и присоединились к нам. Хартог улыбался во все тридцать два, а у Фрумы была более маленькая версия улыбки, со сжатыми губами. Она сказала:

- Ронит, как здорово снова видеть тебя. Мы думали, ты и не вернешься.

Надеялись, что не вернешься, подумала я. Я приподняла бровь. Хартог вмешался:

- Да, мы рады тебя видеть. И удивлены.

И тут они начали дуэт: один заканчивал предложение другого.

- Довид не рассказывал, что ты вернулась в Лондон...

- Да, ты не говорил, Довид. Ты ничего не рассказывал...

- И прошло так много времени, хотя мы, конечно, понимаем...

- В такой момент тебе бы хотелось побыть дома. С семьей...

- И старыми друзьями. И это хорошо.

- Да, это замечательно, просто мы не знали.

- Хотя, конечно, мы бы не возражали, если бы знали.

- Но, видишь ли, к нам должны прийти люди.

- Мы пригласили их до того, как узнали...

- Мы подумали, Довид захочет их увидеть.

- Ведь они хорошо знали твоего отца.

- Даян и Реббецин Голдфарб.

Фрума замолчала, и голос Хартога одиноко повис в воздухе. Мне почти стало его жаль.

Он сказал:

- С этим же не возникнет проблем, правда?

Я ответила:

- Проблем, Хартог? – и притворилась невинно озадаченной.

Наступила долгая пауза, а после Фрума нервно улыбнулась и предложила нам напитки.

Мне казалось, я почувствовала запах крови. Или, вероятно, запах старого, ржавого железа.

Беспокойное ожидание определенно было прелестным. Хартог сделался нехарактерно тихим, а Фрума – более болтливой и беспокойной: постоянно металась между коридором, кухней и гостиной. Когда наконец послышался стук в дверь, они оба ринулись открыть ее. Из коридора слышалась тихая беседа, протест Хартога, сдавленный визг Фрумы.

Я прошептала Довиду:

- Видишь, что здесь происходит?

Он нахмурился и покачал головой.

- Наследие, Довид. Наследие.

Эсти и Довид переглянулись. Довид сказал:

- Мы так не думаем. Мы обсуждали это утром. Я недостаточно подхожу.

Я закатила глаза.

- Посмотри на это. Думаешь, это совпадение, что тебя пригласили одновременно с Голдфарбами?

Довид выглядел озадаченным.

- Даян Голдфарб был хорошим другом твоего отца. Он поддерживал синагогу.

Я вздохнула.

- Довид, Даян Голдфарб – один из самых влиятельных раввинов в Британии, и именно поэтому он сегодня здесь. Если Хартог хочет, чтобы ты стал Равом, то Даян Голдфарб для тебя – идеальная поддержка. С ним процесс перехода власти будет гладким. Вот увидишь. К концу вечера Хартог расскажет ему, какой ты мудрый молодой человек, и как ты все это время скромничал, и какую надежду на тебя возлагает община.

Довид моргнул. Дверь распахнулась, и в дом вошли Голдфарбы.

Я была права. Естественно. За ужином Хартог несколько раз попытался перевести тему на достижения и заслуги Довида. Но, разумеется, Даян и Реббецин Голдфарб больше интересовались, чем занималась я последние несколько лет. Никто не был в этом виноват. Этого стоило ожидать; Голдфарбы не видели меня семь или восемь лет, и они не принадлежали к любителям сплетен, поэтому были искренне заинтересованы в моих нью-йоркских историях.

Фрума подавала пять блюд с растущим раздражением. Еду несомненно готовил кто-то другой – она была слишком хороша для обычной готовки Фрумы. Подали гефилте-фиш – каждый кусочек был коронован кружком морковки. В этот момент Даян Голдфарб спросил мое мнение о колледже Стерн, где я получала степень бакалавра. Тарелки с гефилте-фиш удалились, и прибыл золотистый куриный бульон. Мы говорили о рабочих перспективах на Манхэттене; племянник Голдфарбов работал в финансовом районе. Тарелки для супа были

собраны, и подали две запеченные курицы, прозрачный жир с которых стекал на жареную картошку. Реббецин Голдфарб перечислила своих восьмерых детей и тридцать семь внуков, живущих в Лондоне, Манчестере, Лидсе, Гейтсхеде, Чикаго, Торонто, Иерусалиме, Бней-Браке, Антверпене, Страсбурге, и двое – она вздохнула – в Мельбурне. Только представьте. Фрума подала десерт: пирог с апельсинами в густом алкогольном сиропе и клубникой сверху. Хартог тщетно пытался поговорить о будущем Довида; Голдфарбы спрашивали о рабочих перспективах. Мы поели пирог. Реббецин Голдфарб откусывала маленькие кусочки и издавала признательные звуки.

- Это прекрасно, Фрума. Прекрасно. Ты должна дать мне рецепт.

Рот Фрумы поник.

- Да, - сказала она. – Да, конечно, но не в Шаббат.

Она выглядела болезненно. Я ухмыльнулась. Мне хотелось наклониться и прошептать: «Ты не приготовила ничего из этого, правда, Фрума?», но Реббецин Голдфарб уже приготовила другой вопрос, на который невозможно было не ответить. Она спросила:

- Ну что, Ронит, в твоей жизни есть молодой человек?

Она спросила это с такой нежной улыбкой на лице, какой улыбаются старики, когда хотят дать тебе знать, что пора замуж.

Дело вот в чем. Я хотела сказать ей то, что она хотела услышать. Я правда хотела. В тот момент, после такой приятной вечерней беседы мне хотелось сказать: да, конечно, он врач. Еврей? Разумеется. В следующем году мы поженимся. Будем жить на Манхэттене. Я уже предвкушала, какая чудесная беседа разовьется после этого, как мы будем говорить о свадьбе и будущем. Я желала этой беседы всем сердцем.

Я хотела это сказать и ненавидела ту часть себя, которая хотела, чтобы эта история была правдой. Я услышала, как будто издали раздался скрип, и представила замок и лежащий на моей ладони старый, тяжелый, ржавый ключ. Я могу объяснить это только так, но кто из нас вообще может объяснить, почему мы делаем то, что делаем? Я сказала:

- Вообще-то, Реббецин Голдфарб, я лесбиянка. Мы с моей девушкой живем в Нью-Йорке. Ее зовут Мирьям. Она архитектор.

Это неправда. Это никогда не было правдой. Да, была одна Мирьям, давно, но мы никогда не жили вместе. А архитектором была совсем другая женщина. И, давайте посмотрим правде в глаза, на данный момент я сплю с женатым мужчиной, так что, скажи я это, я бы точно так же их шокировала. А может, нет.

Я посмотрела на Фруму. У ее кожи был сероватый оттенок. Она пялилась, но не на меня, а на Голдфарбов, не моргая и со страхом в глазах. Вперед, подумала я. Дальше и вперед.

- Да, в следующем году у нас будет церемония принятия обязательств. Мы задумываемся о детях, но пока не знаем – или банк спермы, или двое знакомых парней-геев будут отцами, но сами знаете, каково это. – Я заговорщически наклонилась. Я заметила, что никто не наклонился следом за мной. – Они говорят, что хотят детей, но на самом деле хотят только гулять каждую ночь. Но все же четыре дохода лучше, чем два, и меньше будет мороки с документами. – Я улыбнулась, как будто рассказывала смешной анекдот на вечеринке у подруги. Я положила руки на колени и откинулась на стуле, определяя степень ущерба.

Хартоги были просто класс. Очень удовлетворительное зрелище. Ее рот открылся, и она переводила стеклянный взгляд с Даяна Голдфарба на Реббецин и обратно. Он уставился на стол, сжав кулаки, и медленно тряс головой из стороны в сторону.

Довид улыбался. Он глядел в потолок, наполовину прикрыв рукой беззвучную ухмылку. Эсти, сидевшая рядом со мной, выглядела, как будто вот-вот заплачет, из-за чего мне захотелось на нее накричать, потому что, ради Бога, она что, ожидала, что я не скажу то, что она и так знала? Или она думала, что осталась моей единственной, что я должна была быть такой же парализованной, какой, видимо, все эти годы была она?

А Голдфарбы... Я должна была знать. Я, может, и знала, но не подумала о том, что они почувствуют. Или подумала, но мне было все равно. Даян Голдфарб с бесстрастным лицом тихо смотрел на свои руки. Его губы двигались, но не издавали звука. А Реббецин не смотрела в сторону и не пыталась оценить чью-то реакцию. Она просто смотрела на меня взглядом, полным грусти.

Я думала, что уже приняла всевозможные решения по поводу того, во что верю. Что лучше говорить, чем оставлять несказанным. Что мне нечего стыдиться. Что живущие узкой жизнью сами виноваты, что удивляются. Я подумала, что нужно позвонить д-ру Файнголд, чтобы просто дать ей знать, что ничего не изменилось за все это время.

Потому что я чувствовала это. Стыд. Они не плохие люди. Ни один из них. Ну, может, разве что Хартоги. Но Голдфарбы правда не плохие люди. Они не жестокие, не отталкивающие, не злобные. Они не заслуживали испорченного пятничного ужина. Они не заслуживали того, как я обрушила свою жизнь прямо на них. Это не было правильно. А если бы я этого не сделала? Да, это тоже было бы неправильно.

===== Глава шестая =====

Глава шестая

Бог повелел луне обновляться каждый месяц и увенчивать великолепием тех, о ком Он заботится, тех, кто в будущем обновится, подобно ей.

Из Кидуш Левана, читают каждый месяц после третьего дня лунного цикла и перед полнолунием

Какая форма у времени?

Иногда нам кажется, что время круглое. Сезоны наступают и повторяются в одно и то же время каждый год. Ночь следует за днем, а день – за ночью. Праздники наступают каждый в свое время, один за другим. Каждый месяц и луна, и чрево растут и становятся плодородными, а после истекают кровью, чтобы начать расти снова. Может показаться, будто время водит нас по круговому пути, возвращая нас туда, откуда мы прибыли.

Время также может казаться бесконечной прямой линией, ошеломляющей своей безграничностью. Мы путешествуем от рождения до смерти, от прошлого к будущему, и каждая проходящая секунда исчезла навечно. Мы говорим об управлении временем, но на самом деле это время управляет нами, поторапливая нас там, где мы хотели бы задержаться. Мы в силах приостановить время ровно настолько, насколько луна способна приостановить свое ночное путешествие по небу.

Как это часто бывает, эти два на первый взгляд непримиримые наблюдения вместе формируют правду. Время имеет форму спирали.

Наше путешествие сквозь время можно сравнить с восхождением на круглую башню по ступенькам снаружи. Мы перемещаемся, это верно, и не можем вернуться в покинутые нами места, но в то же время наше путешествие приводит нас к тем же горизонтам, что мы видели прежде.

Каждый Шаббат не похож на предыдущий; тем не менее, каждый Шаббат – все тот же

Шаббат. Каждый день приносит вечер и утро, но ни один день не повторится. Пример этому - луна, рождающаяся и убывающая в соответствии с волей Создателя: вечно меняющаяся, но всегда та же самая.

Нам стоит помнить об этом. Временами кажется, будто время занесло нас далеко оттуда, откуда мы пришли. Но всего через несколько шагов мы завернем за угол и увидим знакомое место. Иногда, путешествуя, мы как будто возвращаемся к месту отправления, но, хоть виды и похожи, они не идентичны; мы должны помнить, что полного возвращения нет.

Эсти закрыла глаза. Ее дыхание было мягким и спокойным. Она слушала звуки синагоги вокруг нее. Тихое бормотание, разговоры, переворачивающиеся страницы, «шикание» на детей в женском помещении. В мужском отделении мужчина неторопливо читал главу Торы, произнося каждое слово с надлежащей ему интонацией. Довид показывал ей раньше, как каждое слово в Торе пишется с таамим, маленькими точками и линиями, показывающими, должна ли интонация быть восходящей или нисходящей. Эти символы, говорил он, позволяют читающему привнести в текст индивидуальность, при этом сохраняя однородность интонации. Благодаря этому чтение Торы всегда одинаково, но при этом всегда отличается. Голос мужчины был богатый и текучий. Она позволила своему разуму схватить одно или два слова на иврите, перевести их, посмаковать и отпустить дальше.

Эсти поселила свой разум в каждое место в синагоге. Она была в сморщенной штукатурке на потолке, в усталом синем ковре, в шторах, покрывавших окна, в красных пластмассовых стульях, электрических проводах и в пульсе каждого мужчины и каждой женщины. Она дышала и чувствовала, как синагога вдыхала и выдыхала вместе с ней.

Она обнаружила знакомые ей мысли и эмоции. Там были ярость, горькая ненависть, страх, скука, возмущение, вина, печаль. Она видела себя издалека. Она подумала: это правда я? Может ли эта женщина, кажущаяся остальным такой странной, быть мной? Она видела себя сквозь десятки пар глаз, и каждая замечала ее странность со страхом, отвращением или замешательством. Она улыбнулась, говоря людям: «Да, вы считаете меня странной, но я знаю что-то, чего не знаете вы».

Она переместилась через арку из мужского отделения в женское, медленно исследуя. Она знала, что ищет. Она дала себе время на поиски среди искренних и неискренних молитв, среди переживаний, сожалений, преданности, скуки, замешательства и неодобрения женщин. Она была удивлена. Что это? Новая мысль? Новый разум? Так неожиданно. Кто бы это мог быть?

Она не торопилась с ответом. Она позволила вопросу повисеть, наслаждаясь напряжением. Она улыбнулась. Самой себе, только себе. «Это Ронит, - сказала она. – Я сижу рядом с Ронит, и ее теплое тело рядом со мной, как это всегда было прежде. Время, имеющее форму круга, всегда возвращающее нас в отправную точку, вернуло ее ко мне».

Эсти подумала: «Я счастлива. Это счастье. Я запомнила его».

Когда Эсти было двенадцать или тринадцать, она услышала обрывок беседы двух женщин, стоящих возле синагоги. У нее хорошо получалось оставаться незамеченной; ее часто не видели, из-за чего она могла слышать то, что не должна была. Ее собственные родители иногда проходили мимо нее в синагоге, пытаясь ее отыскать; Эсти считала эту способность даром.

- Вы видели сегодня в синагоге дочь Рава? – спросила одна женщина другую. Та

кивнула. Первая подняла брови и шумно вдохнула. – Я не знала куда смотреть. Думаете, Рав знает, что она так себя ведет?

Вторая женщина, старше и добрее, ответила:

- Она утомится. Она, бедняжка, маленькая и растет без матери.

Эсти услышала бы больше, но рядом оказалась Ронит, и быть незамеченной стало невозможно. Две женщины быстро принялись обсуждать предстоящую свадьбу.

Какое-то время Эсти думала, не указать ли Ронит на ее поведение. Интересно, Ронит знала бы, о чем говорила та женщина? Эсти знала – у Ронит всегда было острое чувство справедливости. Она попыталась представить, как Ронит отреагировала бы на такую беседу, и поняла, что это невозможно. Уже тогда она любила ее. Любовь к Ронит уже тогда, казалось, требовала некоторого отрицания самой себя. Или, к чему она пришла позже, этого требует всякая любовь.

В любом случае, она не могла сказать Ронит то, что слышала. Все продолжалось, как и прежде. Иногда они смотрели вниз из-за перил балкона, где располагалось женское отделение, пытаясь привлечь внимание Довида. Они ждали, пока он повернется в их сторону, и тогда Ронит начинала махать, надувать щеки или высовывать язык. Эсти, смущенно смеясь, сначала стояла смирно, а потом присоединялась, чтобы Ронит не высмеивала ее. Довид, которому тогда было шестнадцать или семнадцать, старался их игнорировать. Он поднимал взгляд, заметив неожиданное движение, и, увидев двух балующихся девочек, снова его опускал. Обычно у него было каменное лицо, сосредоточенное на его сидуре – молитвеннике. Но иногда он улыбался. А иногда смотрел на них в ответ и, убедившись, что никто не видит, тоже высовывал язык. Это были лучшие моменты, которых они ждали, ради которых Эсти рисковала: ее мама могла заметить ее поведение. Раз или два мама Эсти заметила и тихо поговорила с ней после синагоги о том, как правильно вести себя девочке, о том, какой тихой и спокойной ее ожидали видеть окружающие. Эсти слушала и кивала, но в глубине души знала, что момент неповиновения наступит снова.

Это не все, что делали Эсти и Ронит. Пока им не исполнилось двенадцать, когда их еще пускали в мужское помещение, они однажды завязали вместе концы талитов – прямоугольных молитвенных облачений, - так, чтобы они спутались, когда мужчины встанут во время молитвы. Ронит вытягивала Эсти во время скучных частей служения, и они бегали, прыгали, скакали и играли в игры, изобретенные Ронит. Их называли «непослушными девчонками», что время от времени вызывало у родителей Эсти беспокойство. Ронит говорила: «Нам нужно что-то сделать. В синагоге так скучно.» И закатывала глаза.

Когда Ронит так говорила, Эсти всегда была одновременно и удивлена, и впечатлена. Какая-то часть ее хотела напомнить ей, что они вместе учили в школе про Бога и молитву, про уважение к синагоге и про то, как нехорошо, очень нехорошо называть ее скучной. Она хотела напомнить Ронит слова ее же отца, которые он говорит в синагоге каждую неделю: про почтение к молитве. Но слова застревали в горле прежде, чем она могла их произнести.

Иногда она думала о том, откуда Ронит берет все эти идеи, не прорастают ли они в ее голове, словно грибы, возвращенные «домом, лишенным матери», так же, как некоторым растениям нужны теплицы и особые почвы. Она думала: если они соприкоснутся головами, не проникнут ли некоторые споры из головы Ронит в ее собственную? Когда-то она не знала ответа, а потом, по мере того как они росли, в ее голове, как грибы, начали появляться новые мысли, и она обнаружила, что, не будучи предупрежденной, стала другой. Она

принадлежала Ронит. Их идеи были одним целым. Она не знала, был этот факт приятным или пугающим.

Сидя рядом с Ронит в синагоге, Эсти удивилась, что место не поменялось. Она думала, что за все эти годы само здание станет другим, но этого не случилось. Это место было точно таким же, как и десять лет назад, так что Эсти была почти удивлена, что Ронит не прыгает, не бегаёт и не корчит рожи. Ронит вела себя с совершенной пристойностью: положив руки на колени, она следила за чтением, глядя в Хумаш перед ней. Эсти обратила внимание, что она сама не могла вести себя настолько подобающее. Она пропустила страницу, уронила книгу, и ей пришлось поднять и поцеловать ее. Она осталась стоять, когда все остальные уже сели. Она не могла сосредоточиться. Она ждала чего-то.

Она знала, что будет: она с наслаждением осознала это вчера. Интересно, может, Ронит помнит, что сегодня читают? Эсти не напоминала ей, не говорила: «Знаешь, какой завтра день?». Она держала это знание внутри себя и выжидала момент.

Недельная глава закончилась, осталась только ha-фтора – выдержка из книг пророков. Шум переворачивания страниц шепотом прошелся по синагоге. Один мужчина покинул биму и, вернувшись на свое место, обменялся рукопожатиями с соседями. Хартог поднял буравящий взгляд.

- Завтра, как мы все знаем, - объявил он, - Рош Ходеш Хешван, первый день месяца Хешван. Поэтому вместо обычной ha-фторы мы будем читать раздел на канун Рош Ходеша. – Он объявил номер страницы в различных изданиях Хумаша.

Улыбка Эсти вырвалась изнутри наружу. Она почувствовала, как та расплзается по уголкам ее губ. Она пообещала себе, что не посмотрит на Ронит, пока не начнется чтение, пока не прочитают где-то десять строк.

Она ждала. Она думала о том, не ждет ли Ронит тоже, если знает. Чтение началось. Интонации ha-фторы, более мелодичные и пикантные, чем интонации в чтении Торы, часто рассказывают о безверии и предательстве, о том, как народу Израиля не давалась любовь к Богу. Но не сегодня. Эсти следила глазами за переводом на английский.

«Йонатан сказал ему: “Завтра новолуние, и твое отсутствие заметят, потому что твое место будет пустым...”»

Нет, это не лучшая часть. Эсти пробежалась глазами по знакомой истории. Йонатан был сыном царя Шауля. Давид был лучшим другом Йонатана и любимым музыкантом царя Шауля. Царь Шауль разозлился на Давида, но Давид хотел убедиться, правда ли тот хотел ему навредить. Йонатан и Давид разработали план. Давид спрячется в деревне неподалеку. Он пропустит празднование начала нового месяца, и Йонатан будет наблюдать за тем, что сделает Шауль. Если все будет спокойно, он известит Давида, что тот может вернуться. Но когда Шауль увидел, что Давида нет, он разгневался. Йонатан пытался успокоить отца, но Шауль знал, что он всего лишь пытается защитить Давида. Ярость Шауля вспыхнула сильнее, и он сказал:

- Думаешь, я не знаю, что ты заодно с этим Давидом, сыном Ишая, на позор себе и на позор нагоде своей матери?

Читающий ha-фтору был талантлив. Ему удалось привнести в монотонный текст грубый, страдальческий голос Царя Шауля. Сейчас. Она прождала достаточно. Она слегка дотронулась до руки Ронит.

- Ты помнишь? – прошептала она. Ронит посмотрела на нее и моргнула.

- Прости, что?

- Сегодня Махар Ходеш, канун Рош Ходеша. Завтра новолуние. Помнишь, что ты мне однажды сказала про этот день?

Ронит нахмурилась. Эсти подождала. Каденции читающего были тихими и мелодичными, рассказывая про любовь, считающуюся раввинами самой великой из известных.

- Махар Ходеш. Когда мы читаем про Давида и Йонатана, —прошептала она.

Лицо Ронит прояснилось.

- А, да. Точно. Это сегодня.

Эсти улыбнулась. Она вернулась к своей книге. Это сегодня, подумала она. Сегодня.

Читающий подошел к концу отрывка. Йонатан добрался до места, где прятался Давид и сказал ему убежать, потому что царь Шауль собирался убить его.

«И они стали целовать друг друга и плакать друг о друге. Йонатан сказал Давиду: “Иди с миром, ведь Бог навеки будет свидетелем того, в чем мы поклялись его именем.”»

После исхода Шаббата Довид направился в Манчестер, где его мама сидела шиву в компании своих других сыновей. Он хотел поехать; он хотел увидеть мать, утешить ее горе от потери брата. Машина была готова. Он взял Эсти за руку, поцеловал ее в щеку и уехал. Эсти и Ронит стояли в пустом коридоре. Ронит переступала с ноги на ногу на одной месте. Она сказала:

- Думаю, я...

Эсти перебила:

- Пойдем погуляем. Купим кофе.

Она выпалила это так смело, что Ронит не оставалось ничего, кроме как согласиться.

Пока Ронит переодевалась, Эсти вышла в заросший сад. Небо было голубым, черным и фиолетовым одновременно, словно баклажан. Луна отсутствовала, темный круг обозначал вероятность присутствия, неизбежность возвращения. Завтра новолуние, сказала она самой себе. Завтра луна вернется, как Ронит вернулась ко мне. Эсти вдохнула прохладный ночной воздух, ожидая.

Они шли бок о бок по большому открытому парку Хендона, направляясь в сторону Brent Street и Golders Green High Road. Дорога была очень заросшая, и деревья размахивали долговязыми ветвями то влево, то вправо. Место было абсолютно пустынно; Хендон удовлетворенно отдыхал после Шаббата. Возможно, позже Хендон выйдет за бубликами или в кино, но сейчас он довольствовался нахождением дома.

Эсти взяла Ронит под руку. Ронит посмотрела на руку Эсти, сцепленную со своей собственной, но не попыталась отстраниться.

- Помнишь, - сказала Эсти, - мы приходили сюда после школы? Вот там качели, - она вытянула руку вдоль темного раздолья. — Помнишь? Иногда мы приходили сюда по пятницам, зимой. Когда нас отпускали раньше. Это было особенное место.

- Это было здесь? — Ронит всмотрелась в темноту. — Я не вижу. Это разве не ближе к станции? Я помню какие-то качели возле станции.

Эсти улыбнулась.

- Это было потом. Когда мы были постарше. На те качели мы ходили по вечерам. Когда мы говорили родителям, что делаем уроки друг у друга дома. Ты помнишь.

Наступила пауза. Они продолжили идти, медленнее чем раньше.

- А, да, - сказала Ронит. – Я и забыла. Ты правда все помнишь.

Да, подумала Эсти, все. Она посмотрела на звезды. Здесь, вдали от уличных фонарей, они были ярче. Небо было почти безоблачным, на сине-черном пространстве виднелась лишь одна тонкая полоса. «Под небесами, - подумала она. – Вот где мы находимся. Не только сейчас, всегда, но здесь особенно, когда небеса смотрят.» Она тихо обратилась к звездам: «Вы все еще любите меня после всего, что я натворила?». Звезды молчали, но продолжали сиять. Она восприняла это как положительный ответ. Она сказала: «Ваша сестра ушла». Звезды задумались на мгновение и ответили: «Наша сестра вернется». Эсти спросила: «Так же, как вернулась моя?». Звезды подмигнули и улыбнулись.

- Эсти, что ты там бормочешь?

Эсти ответила:

- Пойдем через деревья. – Она потянула Ронит за руку, аккуратно направляя ее к деревьям по одну сторону тропинки. Они стали между деревьями, где листья и ветви немного затемняли небеса. Ронит сказала:

- Кажется, это не сюда. Разве нам не нужно взобраться на горку?

Эсти дернула Ронит за руку.

- Эсти, все в порядке?

«Да, - она хотела сказать. – Все лучше, чем когда-либо.» Секунду она была тиха. Звезды и шепчущие ветви деревьев успокоили ее. Ей пришла в голову мысль. Она спросила:

- Ты не думаешь, что ты – это звезды, а я – луна? Я думала, что луна это ты. Но я тоже отсутствовала, ты знаешь. Думаю, я отсутствовала все это время.

Ронит просто посмотрела на нее.

Скрываясь от небес под деревьями, Эсти провела рукой по лицу, заправляя прядь волос в платок, обмотанный вокруг ее головы. Может, ей стоило объясниться четче? Она не могла объяснить это вообще. Для того, чтобы объяснить то, что она хотела сказать, не было разрешенных слов. Все слова, которые могли бы это передать, были запрещены, не только для ее рта, но и для ее мыслей. Она была ограничена действиями, которые одновременно и больше, и меньше, чем слова.

Ронит отступила на шаг:

- Мне правда кажется, что это туда, Эсти.

Момент настал. Если она хочет это сделать, это нужно сделать сейчас.

- Нет, - сказала она. – Нет, иди сюда.

Глаза Ронит были широко открыты.

- Эсти, - сказала она, - ты ведешь себя, как серийный убийца. Пойдем уже выпьем этот кофе, ради Бога.

Эсти поняла, что начала это неправильно, что она должны была выбрать другие слова, возможно, и другое место. Но сейчас для таких решений слишком поздно. Она посмотрела на пустую луну и холодное небо сквозь ветви деревьев. Улыбаясь, она потянула Ронит за руку, и увидела, что та немного затряслась. Она знала, что Ронит тоже это почувствовала. Она притянула Ронит к себе. Ронит немного сопротивлялась, а потом сдалась. Они стояли близко друг к другу, укрытые руками деревьев. Она чувствовала молочный аромат американского мыла Ронит и легкий запах ее пота. Ронит сказала:

- Правда, Эсти, это меня пугает.

- Ш-щ, - сказала Эсти, подалась вперед, приподнялась на носочки и очень мягко дотронулась губами до губ своей любимой.

Черт.

Все шло так хорошо.

Черт.

Я должна была это предвидеть. Правда. Я должна была это понять по тому, как она смотрела на меня у Хартогов. Или даже раньше. Может, когда я узнала, что она вышла замуж за Довида. Или, когда она начала нервничать, увидев меня.

Возможно, я и предвидела это, в некотором смысле. Она так странно вела себя в синагоге, вечно болтала про Давида и Йонатана, как будто они были чем-то важным. Как будто они были больше, чем просто история из книги. А потом дома, за обедом, когда она со страннейшим выражением лица спросила про Мирьям, мою воображаемую любовницу-архитектора. Счастье, зависть, отвращение и разочарование были смешаны вместе. Или, если честно, может, я придумываю это, глядя назад. В любом случае, чего я не должна была делать, так это признавать, что не было никакой Мирьям. Что я ее придумала.

Довид рассмеялся. Я была удивлена. Он рассмеялся и сказал:

- Так что, ты без пары?

И я ответила:

- Да.

Потому что я не хотела говорить: «Да, но я встречалась с женатым мужчиной, который бросил меня несколько недель назад, потому что чувствовал вину перед женой, но мы все же спали на прошлой неделе, но только потому, что я паршиво себя чувствовала». У честности должны быть пределы.

- Ты изобрела Мирьям, чтобы позлить Хартогов?

- Ну да.

Я ожидала, что он неодобрительно на меня посмотрит, но вместо этого он смотрел в свою тарелку, и на его губах играла маленькая, но различимая улыбка. Интересно, что Довид мог вообще иметь против Хартогов, людей, предлагающих ему блестящую перспективу стать Равом синагоги. Я не спрашивала.

Эсти не улыбалась, она просто посмотрела на меня. Это все, что она сделала. Она посмотрела на меня, и так некомфортно мне стало из-за этого взгляда, что после обеда я решила прогуляться к дому моего отца. Посмотреть на подсвечники еще раз, хотя этого я им не сказала. Я сказала: «Нужно еще много что разобрать», прекрасно помня, что разбирать что бы то ни было на Шаббат запрещено. Не говоря уже о включении радио и танцах в коридоре под Шанию Твейн. Почему-то даже гнетущая атмосфера папиного дома, даже ряды неодобрительных книг казались предпочтительнее, чем оставаться с Эсти и Довидом. Так что да, наверное, я должна была знать. Черт.

Но с другой стороны, я вообще не могла знать. Само место запрещает это. В нем вся проблема. В этом месте и этих одинаковых семьях, сидящих в своих одинаковых домиках и производящих одинаковых детей. В том, как все эти женщины приходят в синагогу в своих шаббатных нарядах с идеально подобранными шляпами, и каждая прилагается к мужчине, желательно держа каждой рукой по ребенку. Они как наборы ортодоксальных Барби: в комплект входит ортодоксальный Кен, двое маленьких детей, дом, машина, ассортимент кошерных продуктов питания. Тебя заставляют в это поверить, и ты пытаешься смотреть глубже, но сдаешься, ведь все кажется таким лаконичным.

И я хотела в это верить. Вот в чем дело. Часть моего мозга хотела верить, что девушки, с которыми ты когда-то спала, могут быть счастливы в браке и жить хендонской мечтой, стоит им только закрыть глаза и пожелать этого. Я не думала, что у моего мозга все еще есть такая способность, мне казалось, терапия и злость устранили ее. Но нет, она была. Я все сильнее убеждала себя, что все здесь абсолютно нормально, и что Эсти вполне счастлива, пока она не взяла и не поцеловала меня.

Я и забыла, какая она хрупкая. Поначалу я только об этом и думала; она лежала на моих руках и груди и была такой легкой, что я едва ее чувствовала. Я забыла и ее запах, которых за эти годы немного изменился. Она всегда пахла чем-то вроде лаванды, мыла, может, фиалок. Я и забыла, как все было между нами. Но, вижу, она помнит. На секунду она заставила вспомнить и меня. На тот маленький промежуток времени, стоя в хендонском поле посреди ночи, под звездами в безлунном небе, я вспомнила ее вкус. Как будто круг завершился, и прошлое неожиданно соединилось с настоящим. Я осторожно оттолкнула ее и произнесла:

- Нет.

Она выглядела озадаченной. Она отодвинулась и придвинулась снова. Я сказала тверже:

- Нет.

Она сделала шаг назад, и ее лицо наполовину исчезло в тени. Деревья вокруг нас жужжали и гудели. Она спросила:

- Ты больше не... С девушками... Ты перестала?

Как странно, что это первое, что пришло ей в голову. Как будто ей больше не о чем было подумать. В ее глазах читался страх и надежда. Как будто она хотела, чтобы и ей помогли бросить.

- Нет, не перестала.

- И ты, ты ни с кем не встречаешься?

Мне хотелось с этого рассмеяться. Мне хотелось толкнуть ее в ребра и сказать: «Нет, я ни с кем не встречаюсь, но не значит же это, что я хочу встречаться с тобой, потому что все давно кончено, Эсти. Все прошло. Это было давным-давно, не так ли?»

- Нет, просто... - Я провела рукой по лбу. Это не было просто что-то. Это была сотня вещей. Тысяча. – Просто ты замужем, Эсти.

Я слышала, как она вздохнула в темноте. Она слегка пожала плечами и придвинулась ко мне. Она нашла своей рукой мою и подняла ее, будто хотела рассмотреть, хотя для этого было слишком темно. Кончиком пальца она провела по линии на моей ладони. Через несколько секунд она мягко сказала:

- Да. Я замужем. Но это между мной и Довидом, понимаешь? Ты уже навредила этому настолько, насколько могла. Ничего не осталось. И я уже причинила ему столько боли, сколько могла. Я знаю это. И все, что Бог может думать обо мне, он уже думает.

А потом долгая пауза. Ветер совсем сник. Над нами промелькнул в ночи самолет, словно искусственная звезда в пустом небе. Она сказала:

- Иногда мне кажется, что Бог меня наказывает. За то, что между нами было. Иногда я думаю, что вся моя жизнь – это наказание за желание. И что само желание – тоже наказание. Если Бог хочет наказать меня, так тому и быть; значит, он прав. Но у меня есть право не повиноваться.

Она говорила это более уверенно, чем все, что когда-либо молвил Скотт. Она сказала:

- Я все это время ждала тебя. Я знала, что ты не можешь остаться. Но сейчас, когда твоего папы не стало, и когда случилось то, что случилось, сейчас ты можешь остаться,

правда? Сейчас мы можем быть вместе, как были всегда.

Она казалась просто невозможной. Она правда думала, что я все это время мечтала вернуться в Хендон, и мне мешала лишь какая-то ссора с моим отцом? Я взяла ее под руку и потянула к тропинке, где от фонарей исходил небольшой свет.

- Эсти. Что, по-твоему, здесь происходит? Я живу в Нью-Йорке. Я возвращаюсь туда через три недели. Я приехала разобрать отцовский хлам. Это не... Слушай, все давным-давно кончено. Я и ты. Это в прошлом.

Эсти снова улыбнулась, и я начала видеть что-то, что замечала раньше, но, возможно, не хотела признавать. В этот момент я поняла, что она все это время ждала меня. Может, не меня, а кого-то, похожего на меня, кого-то, кем она меня представляла. Я поняла, что пока в моей голове меня и Эсти уже давно не существовало, для нее все было совсем не так. И на мгновение мне стало так невероятно грустно, что мне захотелось уйти, не говоря ни слова, выбежать из парка и понестись как можно дальше, пока не свалюсь. Но мне это не удалось, потому что в тот момент, когда я об этом думала, она, черт возьми, снова меня поцеловала.

Я оттолкнула ее и стала держать на расстоянии вытянутой руки. Это было несложно, я всегда была сильнее нее. Я сказала:

- Нет! Послушай, Эсти, прекрати. Просто прекрати, хорошо?

Она нахмурилась и неловко высвободилась из моей хватки. Она стояла в полуметре от меня и смотрела на меня. Я сказала чуть спокойнее:

- Все давно в прошлом, Эсти. Я знаю, что у нас было, но я больше не хочу.

Еще одна длинная пауза. Я всматривалась в другую сторону парка, но было слишком темно, и не было видно ничего, кроме фигур деревьев, качающихся на ветру. Эсти заговорила, и ее голос раздался слишком близко к моему левому уху, чем мне бы того хотелось. Она сказала:

- Но ты была единственным человеком...

Она прервалась. Я повернула голову и увидела, что она плачет. Беззвучные струящиеся слезы блестели на ее лице, как на средневековом портрете Девы Марии. Что мне делать? Сейчас ей не нужна я. Сейчас ей нужна куча подруг, которые сводят ее в пиццерию и скажут ей, что я сука. Ей нужна моя нью-йоркская жизнь, так же как мне нужна была ее, хендонская, в ту ночь, когда умер мой папа. Этому никак не помочь. Я взяла ее за руку и сказала:

- Слушай, все будет хорошо. – Это была полная ложь. Думаю, я хотела добавить что-то вроде «в море полно рыбы» или «все пройдет». Что-то ровно настолько содержательное. Но не успела. О, слава Хендону – из темноты раздался голос, и голос молвил:

- Эсти! Ронит! Шавуа Тов! Хорошо провели Шаббат?

Мы обернулись посмотреть. Это была старая добрая Хинда Рохел Бердичер, в парике, коричневом пиджаке, туфлях-лодочках в цвет, под руку с бородатым мужчиной. Хинда Рохел сияла.

- Это мой муж Лев, - сказала она. – Лев, это Ронит, дочь Рава, помнишь, я рассказывала про нее?

Я не сомневаюсь. Лев мрачно кивнул мне и сказал:

- Соболезную твоей потере. Желаю длинной жизни.

Я поблагодарила его, думая все время, как много, как много они видели, идя в темноте по направлению к нам, стоящим под фонарем? Не то чтобы это разрушило бы мою жизнь, но Эсти... Это было бы нехорошо.

Мы обменялись парой слов; казалось, от них невозможно избавиться, Хинда Рохел была так рада нас видеть, а не хотели бы мы выпить с ними чего-нибудь? Нет? А может, позже? Или завтра? С Довидом? А, он в Манчестере? Хинда Рохел и Лев переглянулись. Может, на следующий Шаббат? Мы им позвоним, да, позвоним, мы же пообещали. Точнее, я пообещала. Эсти определенно была односложной. А куда мы сейчас идем? За кофе? Ну, тогда им не стоит нас задерживать. Они обменялись взглядами еще раз. Улыбнулись. Они пошли в сторону, вышли из-под ручья света, оставив меня и Эсти снова стоять под фонарем в тишине. Я сказала:

- Эсти, давай забудем, что это случилось. Это все прогулка, лунный свет, э-э, отсутствие лунного света. Пошли попьем кофе.

Но спасти ситуацию было слишком поздно. Она начала пятиться от меня, сначала медленно, а потом повернулась и побежала. Она споткнулась на горке, возвращаясь домой. Может, пойти за ней? Я развернулась и пошла в сторону Голдерс Грин.

Д-р Файнголд сказала бы, что только ты сам можешь освободить себя. Что все мы – властелины своих судеб, и что никто кроме себя самого тебе не поможет. Она бы откинулась назад на своем белом кресле и сказала: «Ронит, из-за чего ты думаешь, что можешь разрешить эту ситуацию? С чего ты взяла, что это твоя ответственность?» И с одной стороны, она права. Нельзя починить чужую жизнь. Но если ты видишь, как кто-то борется с тяжелой ношей, разве можно пройти мимо и не помочь?

Я снова думала о жизни Эсти. И я думала о том, что знаю; это не так уж много, но все же что-то. Я думала о Боге. Я давненько о нем не думала, но сейчас вспомнила Его голос. Удивительно: услышав его, он продолжает звучать в твоём ухе с необъяснимой уверенностью, где бы ты ни был.

Я маршировала по Голдерс Грин, проходя мимо рядом еврейских магазинов. Ох уж этот маленький мирок, который построил здесь мой народ. Кошерные мясные лавки хмурились мне, спрашивая, почему я не попробовала их нарезанную печень, всего за 2,25 фунта стерлингов. Кадровое агентство широко улыбалось, приглашая меня подать заявку на работу в соблюдающей Шаббат компании – зимой по пятницам полдня. Салон Мойше приподнял бровь, увидев мою причёску, и поинтересовался, не хотела бы я что-то как у всех.

Я думала о том, как ужасно жестоко вера в Бога обошлась с этими людьми. Она покорила и искривила их так, что они больше не признают свои желания, не говоря уже о том, чтобы учиться исполнять их.

Я шла дальше, по Голдерс Грин Роуд, мимо магазинов с бубликами, где кричала и смеялась толпа подростков, мимо продуктовых магазинов и кошерных кафе, в которые мы ходили так часто, что знали меню наизусть. Большинство уже было закрыто, но, подойдя к станции Голдерс Грин, я увидела небольшую кондитерскую, которая еще работала. Некошерную. Она была почти пуста. Интересно, Эсти вообще когда-нибудь замечала ее? Кусочек другой жизни в двадцати минутах ходьбы от ее дома.

Я зашла и заказала у официантки с усталым видом большой кусок шоколадного пирога. Когда его подали, я подумала обо всем некошерном, что могло там быть: желатин, сделанный из свиных костей, красители, полученные из мертвых насекомых, экстракт моллюсков, смягчающий муку, говяжье сало, что угодно. Я увидела тарелку, полную чем-то мертвым, разлагающимся, нечистым.

Чем-то таким, из-за чего, по словам раввинов, наши сердца становятся тверже, и мы больше не слышим голос Бога.

Я взяла кусочек. Пирог был сухой, а начинка слишком жирная. Я все равно его съела. Один кусочек за другим.

===== Глава седьмая =====

Глава седьмая

Мудрецы говорят: тот, кто чрезмерно дружелюбен с женщиной, нарекает на себя зло, пренебрегает изучением Торы и унаследует Гехином (ад).

Пиркей Авот 1:5, изучается в Шаббат днем между Песахом и Рош ha-Шана

Мудрецы предупреждают нас об опасности сплетен – лашон ha-ра, - что буквально означает «злой язык». Разумеется, распространять неправдивые слухи запрещено. Разве это не то же самое, что и давать ложные показания – запрет в одной из десяти заповедей, полученных на горе Синай? Точно так же, как запрещено распространять сплетни, запрещено и слушать их, и оба – тот, кто рассказывает, и тот, кто слушает, - грешат против имени Бога. Помимо этого, нельзя рассказывать или слушать любые, даже правдивые, истории, которые могут привести к тому, что человек потеряет благосклонность и уважение. По сути, желательнее вообще не говорить о других, даже не делиться хорошими новостями.

Несмотря на это, соблазнам лашон ha-ратрудно противостоять. Тора рассказывает, что во времена, когда Божье присутствие не было скрыто из этого мира, те, кто говорил лашон ha-ра, были тут же наказаны цараат – вирулентной проказой. Когда Мирьям, сестра Мойше, плохо отозвалась о его жене, болезнь тут же поразила ее. Написано, что разрушение Храма в Иерусалиме, о котором мы непрерывно и горько скорбим, было вызвано тем, что народ Израиля постоянно говорил лашон ha-ра. Лашон ha-ра – запрет, против которого труднее всего устоять, и нам необходимо от него воздерживаться.

Один из наших мудрецов упрекнул женщину в распространении сплетен. Он дал ей подушку и приказал вытряхнуть из нее перья с крыши самого высокого здания в округе. Женщина так и поступила. Мудрец сказал: «Теперь подбери все перья, что ты разбросала». Женщина воскликнула, что задача невыполнима. «А-а, - сказал мудрец, - все же легче, чем подобрать все распространенные тобой сплетни».

Хендон – деревня. Она существует внутри города, одного из величайших городов в мире. Из нее легко можно добраться в город и обратно. Но это деревня. В Хендоне все знают все про дела друг друга. В Хендоне женщина не может пройти из одной стороны улицы в другую, не встретив знакомую или знакомого, или не остановившись поздороваться с мясником, пекарем, продавцом магазина. В Хендоне в супермаркетах покупают только замороженные овощи и стиральный порошок – все остальные продукты покупают в маленьких магазинах, в которых продавцы знают покупателей по именам и помнят их любимые товары. Внешний мир тоже существует, но все необходимое доступно в Хендоне: школы, посвященные изучению Торы, кошерные магазины, синагоги, миквы, компании, не работающие в Шаббат, сваты, погребальные общества. Мы научились так жить давно, когда другого выбора не было. У нас неплохо это получается. Мы, как черепахи, носим дом с собой. Мы верим, что нам скоро придется отчалить к другим берегам. Также это придает нам независимости.

В воскресенье, первый день месяца Хешвана, луна показала крохотный проблеск своей бледной плоти, и неделя скорби о Раве подошла к концу. В «Еврейской хронике» написали некролог на полстраницы, кратко описав жизнь мужчины. Его детали были слегка

смутными. «Еврейская трибуна» опубликовала яркий, преувеличенный доклад о достижениях Рава в сопровождении большой фотографии его в зрелом возрасте. Смерть Рава, писали они, была как удар молотком, разрушивший сердце британского еврейства. Эта потеря оставила пустоту, которую никогда не заполнить. Рав был великим праведником своего поколения, заключила «Трибуна», и уже сидит за столом праведников в будущем мире. Нам, обитателям земли, не дано знать, было ли это высказывание более правдивым, чем скромное заявление «Хроники», что Рав умер бездетным.

Для членов других синагог и общин Хендона неделя скорби прошла непримечательно. Рава в них упоминали поступки и события из жизни умершего в своих лекциях. Они знали его ребенком или юношей. Он был лидером, наставником, другом. Их общины торжественно слушали, но после обеденной трапезы, шаббатных песен и дневного сна их скорбь уже была забыта. Прихожане из больших синагог, находящихся в пригородных улочках, читали «Хронику», пожимая плечами или вздыхая. А молодые мужчины и женщины, посещающие «альтернативные» службы, сплоченные оживленными дебатами и ежемесячными вегетарианскими обедами? Сказать, что они радовались, будет слишком. Вместо это скажем, что с его смертью они почувствовали лишь легкое чувство облегчения в связи с исчезновением чего-то, что не было ни либеральным, ни современным, и, следовательно, не заслуживало внимания.

Но в общине самого Рава потеря чувствовалась более глубоко. Во всех этих домах в неделю скорби присутствовало беспокоящее ощущение искажения и необъяснимости. Первый день Хешвана принес с собой некоторое ослабление давления. Неделя скорби окончена. Рав мертв. В этом факте не было ни зерна милосердия, но появилась новая мысль: все же он был стариком, и его уход был естественен. Как только люди позволили этой мысли поселиться в их сознаниях, они поняли, что всегда это знали. Это происшествие не было трагичным. Оно даже не было удивительным. И, почувствовав себя свободнее, члены общины Рава Крушки начали говорить.

Все началось с лавки мясника Левина утром первого дня Хешвана. Магазин был переполнен. Мистер Левин, сын старика Левина, взвешивал за прилавком рубленое мясо и измельченную печень, выкрикивая своему сыну, младшему Левину, чтобы тот принес еще куриных бедер. Это у мистера Левина миссис Блум заметила, как миссис Коэн доставала из холодильника порезанный язык. Миссис Блум и миссис Коэн были покупательницами Левина еще с тех пор, как старик Левин продавал дешевую, еще не кошерную курицу, которую нужно было посолить и осушить. В общем, беседа в мясной лавке Левина – простая и безобидная вещь.

От расспросов про семью и друзей разговор между двумя женщинами перешел на тему Рава, а оттуда к его бедной семье, которая, должно быть, сейчас так тяжело страдает, а оттуда, конечно, к той женщине, что сидела рядом с Эсти в синагоге в прошлое утро. В этот момент обе замолчали, ни одна не решалась озвучить свою мысль. Но, ободренные магазинным шумом, они продолжили. Это могла быть она? Ни одна из женщин не осмелилась приблизиться и спросить, потому что она казалась настолько другой, но, может, это была она? Конечно, она постриглась и выглядела как-то тоньше и жестче, но это мог бы быть кто угодно другой. Что она делала все это время? Может, она жила в Манчестере с семьей? Нет. У нее был разрез на юбке. Разве что стандарты в Манчестере не поменялись радикально. Так что, это была она? Дочь Рава, та самая, кто... Ну, все это время ходили кое-какие слухи. О какой-то размолвке с отцом, о неподобающем поведении с ее стороны.

Нельзя знать наверняка. Беседа стихла, и, не удовлетворив любопытство, женщины разошлись.

Правда, их подслушала миссис Стоун, жена ортодонта Стоуна, ненамеренно прячущаяся за большими морозильниками. Мистер и миссис Стоун-ортодонт ходили в синагогу Рава только три года. Будучи новичком, миссис Стоун не заметила на удивление современную молодую женщину, сидящую в синагоге рядом с Эсти Куперман. Но так получилось, что в этот Шаббат была ее очередь помогать Фруме Хартог накрывать на стол для кидуша: печенье, чипсы, рыбные шарики, нарезанная селедка, маринованные огурцы и маленькие бокалы красного вина – все это последовало за утренним служением. Миссис Стоун заметила, что Фрума, не самая любезная из всех поставщиков провизии, была определенно односложной. Миссис Стоун, любительницу поболтать, это не остановило. Пока они раскладывали печенье на тарелке, покрытой салфеткой, она сделала еще одну попытку.

- Ну что, Фрума, у тебя вчера были гости?

Рука Фрумы затряслась, и поднос с маленькими бокалами вина нервно покачнулся. Она ответила, поджав губы:

- Эсти и Довид Куперман. Но не то чтобы тебя это касалось.

Миссис Стоун спрятала улыбку, раздумывая, что, возможно, Фрума была бы более склонна улыбаться, если бы ей выпрямили клык с правой стороны. Сейчас, стоя возле большого морозильника в лавке Левина, она начала думать о том, не было ли настроение Фрумы целиком связано с ортодонтическими проблемами.

Миссис Стоун высказала свои подозрения подругам, миссис Абрамсон и миссис Бердичер, когда встретила их в пекарне чуть позже тем утром. Миссис Стоун пыталась говорить тихо, но покупатели, требующие «две буханки ржаного, тонко нарезанного!» или «два десятка рулетов – больших, не маленьких!», вынудили ее повысить голос. Женщины кивали, когда она говорила. Возвращение дочери Рава, загадочная злость Фрумы Хартог, ее отказ упомянуть Ронит как одну из гостей на шаббатней трапезе. Казалось, все это что-то значит. Но что именно?

Миссис Бердичер сделала вдох. Возможно, она что-то знает. Небольшие новости. Лезвия хлебoreзки гремели, мерцая, когда женщина подошла ближе. Что? Что знает миссис Бердичер? Она потрясла головой. Нехорошо такое говорить. Она и мистер Бердичер, вроде бы, видели кое-что по дороге домой вчера после Шаббата. Но они могли ошибаться. Было темно. Они были далеко. Возможно, глаза их обманули. Хотя, зная, как изменилась Ронит, и эта ее короткая стрижка, напористые манеры, и она все еще не замужем в тридцать два! В этом был смысл. Но что? Что они видели? Хлебoreзка зарычала, когда ей скормили четыре большие буханки. Миссис Бердичер запротестовала. Эти слова будут лашон ha-ра, а лашон ha-ра – вещь злая и нехорошая, как они учили много лет назад. Миссис Стоун и миссис Абрамсон слышали издали слабый голос, просящий их отступить. Давайте, говорил он, возвращайтесь к покупкам. Продолжай, настаивали женщины, продолжай. Миссис Бердичер колебалась, но продолжила, говоря очень тихо.

Постыдное подозрение накрепко их сплотило. Каждая посмотрела на двух других подруг, чтобы убедиться, что они полностью поняли важность наблюдений миссис Бердичер. Они оглянулись. Ропот покупателей неустанно продолжался. Ни одна из женщин не хотела заговорить первой и показаться невежественной или наивной.

- Несомненно, это неправда, - наконец сказала миссис Абрамсон.

Миссис Бердичер не послушала тихий ноющий голос, который твердил, что она могла ошибаться, и сказала, что она уверена. Абсолютно. Ронит всегда была своенравной, даже будучи девочкой. Уже тогда ходили слухи о ее неподобающем поведении, миссис Абрамсон может подтвердить. Миссис Абрамсон глубокомысленно кивнула.

- Какое мнение об этом у халахи, еврейского закона? – спросила она.

Наступила секунда тишины.

- Это определенно запрещено, - сказала миссис Бердичер.

Женщины кивнули.

- Про это не сказано в Торе, - сказала миссис Абрамсон. – Тора говорит только про мужчину, ложащегося с другим мужчиной.

- Думаю, это запрещено мудрецами, - сказала миссис Стоун. – Они называли это «занятиями египтянок». Кажется, это из Гемары.

Потом миссис Абрамсон, вероятно, услышавшая тихий голос четче всего, сказала:

- Ну и что, если это запрещено? Хинда Рохел, твои племянники едят трэфовое мясо и не соблюдают Шаббат, и ты все равно приглашаешь их в гости. Чем это отличается?

Миссис Бердичер сначала выглядела пристыженной, а после разозленной. Она открыла рот, потом закрыла, потом, решившись, открыла снова.

- Это совершенно другое. Ты сама знаешь. Особенно, когда кто-то навязывает это кому-то другому.

- И ты уверена, что тебе не показалось? – спросила миссис Абрамсон.

Последовала еще одна пауза. Хлеборезка по-прежнему шумела; разговор можно было продолжать.

- Да, - сказала миссис Бердичер. – Я же сказала. Ронит держала ее. Она с трудом вырвалась. Она плакала. Я видела.

Она поправила свою шляпу, заправив под нее выбившиеся пряди волос.

Ассистентка магазина, скормив хлеборезке последние три буханки, нечаянно подставила под лезвия свои пальцы и одернула руку. На кончике ее среднего пальца появилась красная бусинка крови.

Миссис Абрамсон заговорила.

- Если это правда, мы должны предпринять меры. Эсти может быть в опасности. Мы должны что-то сделать.

Женщины одновременно моргнули. Требовались меры, но какие? Будь Рав жив, они проконсультировались бы с ним насчет этой дилеммы. Но к кому обратиться теперь?

- Одна из нас должна поговорить с Довидом, - сказала миссис Бердичер.

Тишина.

- Или с Эсти? – спросила миссис Стоун.

Две другие женщины покачали головой. С Эсти Куперман не стоило разговаривать о таких вещах.

- Может, - начала миссис Абрамсон, - может мне спросить у Пинхаса, что он думает? Это будет лашон ха-ра? Спросить мнение моего мужа?

Женщины кивнули и улыбнулись. Прекрасное решение. Пинхас Абрамсон завершил двухлетнее обучение в йешиве, где он учил Тору пять дней в неделю. Он будет знать ответ.

Если к тому времени, как миссис Абрамсон поговорит с мужем, ветер уже разнесет семена их подозрений по Хендону, женщины не могут считаться виновными, ведь беседа прошла в такой осторожной и почтительной манере - и исключительно ради блага. В воскресное утро пекарня – не лучшее место для проведения дискуссии, о которой никто не должен узнать. Нужно заметить, что некоторые мужчины и женщины все же отворачивались, говоря: «Нет, это лашон ха-ра». И такие люди заслуживают нашего восхищения и уважения, поскольку слушаться слов Всевышнего, когда желания внутри нас направлены на противоположное, - чрезмерно сложное испытание. Эти души будут щедро вознаграждены.

Но души большинства людей Хендона не обладали такой силой. Как и Мирьям, сестра Мойше, они распространяли слухи, и как Аарон, брат Мойше, они слушали их. И в наши дни, когда на земле больше нет проказы, нам не дано знать, получили ли они от Бога наказание. В любом случае, к тому времени, как Пинхас Абрамсон обсудил этот вопрос со своими друзьями Хоровицем и Менчем, о нем стало известно уже во многих домах Хендона. А к тому моменту, как Менч, учащий Гемару вместе с Довидом, решил позвонить в Манчестер, злые языки уже однозначно сделали свое дело. А последствия его необратимы.

По какой-то странной причине в Хендоне водятся чайки. Я имею в виду, нет никакой причины, чтобы их не было – Хендон достаточно близок к побережью. И все же это так нелепо: бродить по Brent Street мимо кошерных магазинов и книжной лавки «Клад Талмуда» и видеть кружащих по небу чаек, который снижаются, расправив серо-белые крылья, чтобы подобрать кусочек бублика. По дороге обратно в субботу ночью я с удивлением обнаружила, что они все еще парят над землей даже после полуночи.

Я вернулась в дом Эсти только поздно ночью. Она была уже в постели, дом был темным, и казалось, что это к лучшему. Я сидела в своей комнате и рассматривала варианты. Я могла поехать домой прямо сейчас, выбраться к черту из этой невероятно жуткой обстановки, абсолютно провалиться в попытках взаимодействовать со сложностями моей

старой подруги и любовницы Эсти и ее неважного муженька. И, признаю, этот вариант очень даже меня привлекал. Но это все же была бы чрезмерная реакция. Я могла бы поговорить с Довидом, с Эсти, посидеть и «разложить все по полочкам». Я ведь теперь в какой-то степени американка. Это старый добрый американский способ терапии. Я трусиха, если мне кажется, что я не смогу? Что я не хочу этой беседы ни с одним из них?

Так на чем остановимся? А, точно, когда ты в Британии, надо поступать по-британски. Поджатые губы. Сдержанность. Тихое бормотание. Другими словами, игнорировать проблему. Я поставила будильник на шесть утра и пошла спать. В ту ночь мне снились чайки Хендона, их слишком острые клювы и гибкие когти. То, как они поворачивают голову и смотрят на тебя одним бездонным глазом-бусиной. Мне снилось, как я убегала от стаи чаек, хотя эти птицы ничего не делали, не нападали. Они просто смотрели.

Я быстро проснулась, натянула одежду и, не посмотрев, проснулась ли Эсти, и не попытавшись с ней поговорить, направилась напрямик к папиному дому. У меня была миссия. Если я ее выполню, я смогу отправиться обратно и не буду чувствовать, что эта поездка прошла впустую. Я распахнула входную дверь; теперь, после того, как я придумала трюк с радио, дом меня не боялся. Я оценила проделанную работу. Стол в середине кабинета был чист, пол тоже. Я выкинула пять больших пакетов с мусором и засунула в ящик все бумаги, которые выглядели нужными. Еще пару часов я разбиралась с полками. Журналы, черно-белые еврейские газеты, накопившиеся за тридцать лет. Пару вещей, увидев которые, мне показалось, что я на правильном пути: в маленькой бархатной коробочке я нашла бокал для кидуша, который помнила из детства. В самом углу на полке за книгами на идише пряталась стеклянная миска, в которой моя мама подавала в пятницу вечером маринованные огурцы.

Эта мысль меня разозлила. Какое у моего отца было право прятать от меня таким образом мое же детство? Казалось, в этом беспорядке нарочно скрывали от меня то, что я хотела найти. Я встала и осмотрела комнату. Подсвечников не было. Я обыскала все ящики и все полки. Я подумала посмотреть за книжными шкапами, но это казалось абсурдом. Нет. Мне казалось, я чувствовала их в своих руках, я чувствовала закругленный серебряный лист на одном из подсвечников. Я помню, как папа показывал мне, как их зажигать, когда мне было семь, и мама умерла. Я держала спичку, а его рука с выступающими венами – мою. Тогда, очень давно, я была послушным ребенком. Он не мог их отдать. Никому еще в нашей семье не было до них дела. Они должны где-то быть. Должно быть, он поставил их в безопасное место. Не на виду. Они ценные, они – семейная реликвия. Их место... Наверху.

Я поднялась на второй этаж. Я уже была там – осмотрела спальни и не нашла ничего интересного. Я не смогла зайти в свою старую комнату, дверь невозможно было открыть, не приложив силу. Но, раз требуется сила, так тому и быть. Может, ее нужно открыть ключом? Нужно посмотреть в других спальнях.

В комнате папы на полу и кровати кучковались картонные коробки, на первый взгляд, наполненные рукописями и старыми вырезками из газет. Несколько пожелтевших страниц упали на пол: статьи из шестидесятых годов о маркировках кошерных продуктов и бесконечные дебаты насчет эрува – ограждения определенной территории, отменяющего запрет на ношение в Шаббат внутри нее. Шкаф был разгромлен: двери были открыты, части одежды не было – наверное, ее перенесли в ящики, которые я видела внизу. Эта комната выглядела, как будто в ней второпях рылись в поисках одежды – наверное, когда папу в первый раз забрали в больницу, - и так и не навели порядок. Было как-то жутко находиться в

этой комнате без него. Как будто он все еще был здесь, только за пределами моего поля зрения. Как будто мы снова вот-вот поссоримся, как обычно – из-за моей неподобающе короткой юбки или из-за того, как я разговаривала с одним из школьных раввинов. Он так и не материализовался. Особо не пытаюсь искать, я вышла из комнаты.

В свободной комнате было больше порядка; должно быть, там спал Довид, как и тогда, когда он был ребенком, если папа просил его остаться на ночь. Кровать была застелена синим стеганым одеялом, которое я узнала: его сделала бабушка, папина мама, давным-давно. Три-четыре книги были аккуратно сложены на столе. Я выдвинула верхний ящик и обнаружила две упаковки бумаги формата А4 и несколько карандашей, все были заточены и направлены в одну сторону. Довид. Второй ящик почему-то не содержал ничего, кроме большой банки слив со старым, отклеивающимся ярлыком. Из окна был виден гортезиевый куст около забора, но я на него не смотрела. Я села на кровать и думала, поглаживая мягкое шерстяное покрывало. До меня дошло, что я могу здесь спать, если захочу. Это все же дом моего детства. Дом принадлежал синагоге, но мебель определенно моя, если я ее захочу, и они не могут запретить мне провести пару ночей в доме моего отца. Да, кажется, это очень хорошо разрешит проблему с Эсти и Довидом. Я даже могу остаться в своей старой комнате. Я прошла по коридору в другую сторону и распахнула дверь.

Наверное, в глубине сознания я надеялась, что мою детскую комнату сохранят для меня, словно храм, в таком же состоянии, в каком я ее оставила. В ней могли бы быть следы некоего ритуала горевания: хоккейная клюшка, которую с любовью полировали раз в неделю, или моя большая фотография с вазами завядающих роз по обе стороны. Конечно же, ничего из этого не было, но некоторые части комнаты остались прежними. Моя школьная фотография все еще висела на стене, а под ней, немного косо, моя медаль по нетболу – за тот небольшой промежуток времени, когда я была капитаном команды, пока меня не выкинули за то, что я доводила других девочек до слез, критикуя их на поле. Но эти вещи были едва видны из-за коробок, чемоданов и черных мусорных пакетов, отвратительно и беспорядочно холмившихся на всех поверхностях комнаты.

Эта груда доходила мне до талии и занимала весь пол; свободным было только немного места возле двери, чтобы она открывалась, но помимо этого там негде было стоять человеку. Я залезла в один из ближних пакетов и достала мужскую пару обуви и голубую кружку; от одного из ботинок отклеилась подошва, а у кружки была отломана ручка. Ботинки воняли. Через какое-то время я начала думать, что, возможно, воняет еще откуда-то в этой комнате. Не удивлюсь, если под этими коробками и пакетами есть пару крыс. Я прислушалась, и мне показалось, что я слышу шуршание. Не могу сказать, как долго я там стояла. Интересно, как бы это назвала д-р Файнголд. Без сомнения, что-то раздражающе правдивое. Возможно, способ забыть, что я существую? Выражение злости? Попытка заполнить пустоту от потери? Патологическое стремление никогда ничего не выбрасывать? На это мог ответить только мой папа, и его об этом больше не спросить.

Глядя на эту комнату, я поняла две вещи. Во-первых, я не могу ночевать в этом доме. Ни в комнате Довида, ни в какой другой. А во-вторых, что я сейчас заплачу. Настоящими, правдивыми, огромными, мучительными, неудержимыми слезами. Я побежала в ванную, как будто меня сейчас стошнит, села на закрытую крышку унитаза и плакала, и плакала, и плакала, не в силах объяснить себе, почему. Я посмотрела на свое отражение в зеркале, заплаканное и с красными глазами, и кое-что вспомнила, именно в этот момент. Глядя на себя в зеркало. Заплаканную. Я поняла, что вспомнила.

В дверь позвонили.

Я сидела неподвижно. Может, они уйдут. Звонок прозвучал снова, дважды, без перерыва. Потом из прорези для писем послышался женский голос:

- Ронит? Ты там? Это я, Хинда Рохел...

Еще один настойчивый звонок. Икая, я спустилась вниз, чтобы открыть дверь. И в самом деле, Хинда Рохел Бердичер стояла в дверях с двумя другими женщинами, которых я не узнала – одна блондинка, другая низенькая и темная.

Хинда Рохел просияла. Она сказала:

- Помнишь Двору? И Нехаму Тову?

Я нахмурилась.

- Двора... Липшиц?

Блондинка улыбнулась.

- И... Нехама Това... - Я прищурилась. – Извините, я не...

Низенькая женщина тоже улыбнулась.

- Нехама Това Вайнберг. Раньше я была Нехама Това Бенсток. Я училась на год младше тебя.

- Мы увидели, что горит свет, - сказала Хинда Рохел. – Решили зайти и поздороваться.

Я подумала: увидели, что горит свет? Все втроем? Вместе блуждали по улице в воскресный вечер, просто чтобы посмотреть, у кого горит свет? Что-то я не могла связать это вместе. Это было очень глупо с моей стороны. Я подумала: как странно. Как я могла забыть, что Хендон – деревня. Не подумала о том, о чем должна была: что кто-то наблюдал за домом, и знал, где я есть, и где меня нет.

Они зашли, сделали себе чай, сели на диван. Они лучше меня знали, где в этом доме чай и молочные кружки. Хинда Рохел объяснила, что они часто были здесь, чтобы помочь Раву, да покоится он с миром, пока он был болен. Я ответила, что это любезно с ее стороны, и она улыбнулась и сказала, что всего лишь исполняла мицву. Они были впечатлены тем, как я убрала дом. Я объяснила, что искала пару семейных вещиц, чтобы забрать их домой, и они сочувственно кивнули.

Когда чай был выпит, комната погрузилась в тишину. Я смотрела на них. Они улыбнулись мне. Я никогда не могла терпеть тишину. Я спросила:

- Ну что, как у всех дела?

Нехама Това рассказала мне про своего мужа и четверых детей. Двора поведала про своего мужа и пятерых детей: я слышала в ее голосе нотку гордости по этому поводу. Хинда Рохел работает несколько дней в неделю помощницей д-ра Хартога, и у нее всего двое детей, но, кажется, она не унывает. Она улыбнулась мне, и ее напомаженный рот оставил маленький красный след на белых зубах. Она спросила:

- А что ты, Ронит? Ты замужем?

Она сказала это так, как будто уже знала ответ. Я ответила:

- Нет, не замужем.

Когда женщины приняли этот факт, наступила пауза. Нехама Това слегка вздохнула. Без сомнения, они думали, что мне уже слишком, слишком поздно. Они думали не только о том, что я никогда не выйду замуж, но о том, что, посредством замужества, я никогда не стану взрослой, никогда не стану собой; буду словно сморщенный виноград на лозе – высохший, так никогда и не сорванный. В этой общине вступление в брак – не только религиозное действие или юридическое обязательство, это вообще не что-то, что ты делаешь, потому что

тебе нравится человек, и ты хочешь с ним быть. Для них это обряд посвящения во взрослую жизнь. Те, кто этого не сделали, так и не повзрослели. Сказать, что я не вышла замуж, равнозначно заявлению, что я не стала полноценным человеком.

Нехама Това наморщила лоб и сказала:

- Ой, мне очень жаль.

Двора участливо улыбнулась.

Боже милостивый, как будто это, а не потеря моего отца, было настоящей утратой.

И я посмотрела на нее, на милую тихоню Двору, которой всегда так хорошо давалась математика, и которой даже ставили А+. Может, не А+, но А точно. И сказала:

- Чем ты занимаешься, Двора?

Она моргнула:

- Я же сказала: у нас с Цви пятеро детей...

Я перебила:

- Я имею в виду, ты не работаешь? Но ты всегда так хорошо училась, даже отлично! Что случилось?

Это было некрасиво. Она этого не заслужила. Не считая того, чем все они грешны – они тихо принимают, что все должно быть так и этак, и никогда не задумываются о том, что этот маленький защитный мирок вредит настолько же, насколько и укрывает.

Она начала запинаться:

- Ну, я, я всегда думала, ч-что мы с Цви, мы всегда говорили, что, может быть, когда дети вырастут...

Вмешалась Хинда Рохел:

- А что? А ты, Ронит, чем занимаешься?

Должна сказать, она была уверена, что я не воспроизведу удовлетворяющего ответа. И я сказала им, чем занимаюсь. Меня мой ответ удовлетворил. Я живу в Нью-Йорке. У меня есть своя квартира. Я финансовый аналитик. Двора немного восторгалась, когда я назвала название своей фирмы. Как выяснилось, компания ее мужа много сотрудничает с ними. Я рассказала о некоторых громадных операциях, над которыми работала. Их глаза расширились. Когда я закончила, они молчали.

Наконец Хинда Рохел наклонила голову в сторону и спросила, притворившись обеспокоенной:

- Но разве это делает тебя счастливой, Ронит? Разве ты чувствуешь удовлетворение?

Вечером я сидела в помещении, ожидая, пока снаружи стемнеет. Работало радио, я разгадывала кроссворд и думала, через сколько времени Эсти пойдет спать. Я знала, что не могу делать это вечно. Но, может, только сегодня и завтра. Может, этого будет достаточно. И, потому что мне было одиноко, или я была уставшей, или находилась далеко от знакомых мне людей, я подошла к телефону, тому самому, который у нас всегда был. Я приложила трубку к уху и вслушалась в гудение. И, не успев подумать, зачем, я начала набирать номер.

Где-то очень, очень далеко на бледном деревянном столе зазвонил блестящий черный телефон.

- Алло.

- Скотт? Это ты?

- Ронит? – В его голосе была теплота, как будто он был искренне рад меня слышать. – Как дела в старой доброй Англии?

О да, снова это. Когда какое-то время поживешь в штатах, это перестает раздражать, но в любой момент может начать терзать снова.

- Старая, да не добрая, - сказала я.

- Да? – сказал он, и мне показалось, что я слышу звук перелистывания страниц. – А как семья?

- Э-э... Странно. Слушай, Скотт, я могу серьезно поговорить с тобой минутку?

Он сделал паузу.

- Да, конечно, сейчас.

Звук, за три с половиной тысячи миль отсюда, этот звук, когда он положил телефон на стол, встал, закрыл дверь и подошел обратно. Мне казалось, будто звук шагов Скотта раздавался эхом из самого Нью-Йорка на тысячи миль по тонкому электрическому проводу. Как нелепо.

- Окей, я весь твой.

Я услышала в его голосе улыбку. Таковую, которой он улыбался, когда звонил мне с мобильного, находясь рядом с моей квартирой, и спрашивал, есть ли у меня время на «краткий социальный вызов».

- Помнишь, я тебе рассказывала про Эсти? Девочку, с которой я училась в школе?

Еще одна улыбка в его голосе.

- А как же. Вы же были вместе, да? А потом пошли разными путями.

- Да, только... Кажется, она никуда не пошла. Она все еще здесь. Замужем. За моим двоюродным братом.

Скотт рассмеялся. Я не ожидала этого; я не поняла, насколько это смешно.

- Замужем? Ну, такое бывает. Может, после тебя она переключилась на парней, моя дорогая. Хорошо, что еще остались некоторые, не застрахованные от твоих чар.

- Нет, - сказала я. – Оказалось, она совсем не переключилась на парней. Вчера она пыталась ко мне приставать.

Скотт снова рассмеялся, и я хотела сказать: «Нет же, не смейся, это не смешно, в этом нет абсолютно ничего смешного».

- Так что, ты согласишься?

- Нет, - сказала я. – Я совсем не об этом...

- Ну, как знаешь, смотри сама.

И я хотела сказать столько всего. Про это место, про то, как его липкие нитки окружают тебя и поглощают. Про страх и отчаяние от этой узкой жизни в этом маленьком мирке. Про то, как эта жизнь снова затягивает меня, словно завязывая петлю на шее. Но вместо этого я просто сказала ему, что мне надо идти, но я скоро позвоню, и все еще помню, что мне надо доделать анализ МакКиннона. Он ответил, что ждет моего возвращения, и на мгновение я почувствовала тепло. Но потом я положила трубку, и комната была все так же холодна. Я сидела в пустом доме и ждала.

===== Глава восьмая =====

Глава восьмая

Возрадуйся и сделай эту драгоценную пару радостной, как в начале сделал Ты радостными Твои создания в Саду Эдема.

Из Шева Брахот, читается на свадебном банкете

Чем больше мы задумываемся о браке, тем абсурднее он кажется. Брак разрешен только между людьми, имеющими мало общего. Запрещено вступить в брак с близким

родственником. Запрещено вступить в брак с человеком одного с тобой пола. Бог, Создатель небес и земли, мог точно так же предопределить, что брат и сестра могут пожениться, что две женщины могут произвести потомка. Он мог бы устроить мир таким образом, что только похожие друг на друга люди могли быть вместе. Он мог бы дать Своим созданиям больше удобств. Почему тогда Он так не сделал?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала мы должны понять, что этот мир существует для того, чтобы учить нас. Конечно, им также нужно наслаждаться, это правда, но в первую очередь изучать, как и Тору, которая и есть мир. Точно так же, как каждый крохотный штрих, формирующий одну из букв Торы, содержит в себе бесконечный смысл, его содержит и каждый аспект создания. Ничто не случайно, ничто не предоставлено воле случая. Все предусмотрено и все предопределено.

Чему же нас учит брак? Он учит нас стремиться к близости. Он учит нас тому, что близость не может быть достигнута или поддержана без усилий. А каков духовный аналог этого земного понятия? Те, кто верят, что сам брак — это гарантия гармонии, — дураки. Брак труден. Он тягостен. И он должен быть таковым. Поскольку, пытаясь сблизиться с человеком, так непохожим на нас, мы начинаем понимать, что от нас требуется для сближения со Всевышним. Это наша работа на земле, и работа в браке подготавливает нас к этому. И, пусть брак может принести радость и удовлетворение, этого не обещалось.

Мы можем отречься от правды, но в таком случае мы должны отречься от всего. Мы можем заявить, что брак — это ничего кроме желания сердец, умов и чресл двух людей. Мы можем настаивать, что Создатель не мог хотеть для нас жизни в дискомфорте. Мы можем, если захотим, стать близ насыпи земли и объявить себя повелителями творения, но тогда мы не должны удивляться, если мы прекратим гореть желанием Источника мироздания и перестанем чувствовать Его тоску по нам.

Довид провел шесть ночей и пять дней в Манчестере. По истечении этих дней он вернулся домой чтобы провести Шаббат с женой. А посреди своего пребывания в Манчестере он получил телефонный звонок.

Визит был нелегким. Его мать была более огорчена смертью брата, чем Довиду казалось из их телефонных разговоров. Она была беспокойна, печальна и взволнована по мелочам: перенесенная запись, неожиданный гость. Его отец, не уверенный, как вести себя со своей женой, часто удалялся на работу, утверждая о срочной необходимости разобраться с документами. В понедельник вечером они ужинали с братом Довида Биньомин и его новой женой. Пнина уже была беременной и выглядела уставшей и серой, хоть и говорила, что чувствовала себя прекрасно. Они оба вели себя необычайно почтительно по отношению к Довиду, с постоянными улыбками на лицах расспрашивали о его здоровье. Довид думал, не считают ли они до сих пор, что он будет следующим Равом общины.

В этот вечер Довид и его мать сидели в гостиной одни. Когда Биньомин и Пнина ушли, она начала плакать. Д-р Куперман тут же покинул комнату, бормоча что-то про работу и несколько записей на следующее утро. Довид сидел, наблюдая, как его мать плачет, сожалея, что он не может позволить себе уйти, как это сделал его отец. Он передавал ей салфетки, а она держала его руку, благодаря его и не переставая извиняться. Если бы она только перестала извиняться. Через несколько минут ее слезы прекратились, и она сделала несколько глотков воды. Она улыбнулась одними губами.

- Они выглядят счастливыми, Биньомин и Пнина.

Довид кивнул.

- Я сразу не могла этого представить; они долго не могли определиться друг насчет друга, но сейчас кажутся довольными.

Довид снова кивнул.

- Они женаты всего год, и у них уже скоро будет ребенок.

Это всего лишь простые утверждения, подумал Довид, всего лишь приятные слова, чтобы заполнить тишину.

- Довид, ты не?.. - Его мать запнулась.

Не здесь, не здесь. Пусть она не произносит эти слова, не сейчас. Пусть будет тишина.

Она подалась вперед и спросила у него:

- Довид, ты счастлив?

- Что?

- С Эсти. Ты счастлив с Эсти?

- Да, - сказал он. – Извини, я очень устал. Хочу пойти спать.

Довид знал, что некоторые люди в общине считали его глупым. Хоть он и прошел обучение в йешиве и стал раввином, он не был духовным наследником, который облегчил бы для них этот тяжелый период. Даже когда он учился в йешиве, он не был блестящим знатоком Торы. Знания, полученные им, быстро забывались, если их постоянно не повторять и не обновлять. Рав часто напоминал ему об истории Рабби Акивы, известного своей медленностью мудреца, чьи знания Торы, тем не менее, были выдающимися. Общине не нравилась эта перспектива. Его ум не был проворен, и сам он был несколько медлителен, из-за чего складывалось впечатление, что он не полностью следил за беседой и не понимал, что его спрашивают.

Была и другая причина, почему некоторые люди считали его глупцом. Довид с неудовольствием осознавал, что прихожане замечали, как он ведет себя с Эсти, а она себя с ним. Они осознавали ее сверхъестественное спокойствие, силу ее молчаливости. Эсти не была любимицей среди женщин общины; она не принимала участия в их разговорах и делах. Он знал, что один или двое членов синагоги подходили и спрашивали Рава, тихо, но настойчиво, не следует ли Эсти уйти. Они сомневались, что Эсти – подходящая жена для кого-то, кто так близок к статусу наследника Рава.

Рав, понимающий, что не всякие отношения просты, и что простота – не обязательно самое ценное, рассказал Довиду об этих мнениях, чтобы он был подготовлен. Довид не передал эти новости Эсти. Он не стал менять свое поведение или заставлять ее менять свое. Его манера поведения с ней осталась прежней, и он молча встречал знающие взгляды и произнесенные шепотом комментарии – в синагоге и на улицах.

Любить кого-то, зная, что он не может полюбить тебя, ужасно. Есть и более страшные вещи. Есть более мучительные страдания. Однако это все равно ужасно. Как и многое другое, это неразрешимо.

Остаток визита прошел легко. Мать Довида, казалась, обрела некое спокойствие. В среду старший брат Довида, Реувен, привел двух своих детей – двухлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку. Мать Довида завела их на кухню и показала, как выкладывать на пироге рожцы из кусочков шоколада.

- Помните, - сказала она, занося поднос, - помните, как вам двоим это нравилось?

Помнишь, Довид, как ты сначала съедал низ пирога, чтобы оставить рожцы на потом?

Ее лицо стало беспокойным, как будто она переживала, что он забыл что-то настолько важное, или, возможно, что она всего лишь изобрела эту мысль, и он оспорит ее правдивость. Довид помнил; они приятно провели время.

В четверг из Лондона позвонил д-р Хартог. Сказал, чтобы оповестить Довида о планах. Планах? На хеспед, естественно. Хартог гордился своими планами. Несколько уважаемых раввинов посетят поминальную службу. А еще несколько важных фигур в еврейской жизни Британии – не самые известные, а подобные самому Хартогу, снабжающие деньгами, чья поддержка была чрезвычайно важна. Хартог запланировал, что, вместе с ними, также будет давать речь Довид.

- Ты же будешь говорить, Довид? – спросил он.

Довид молчал.

- Община порадует, - продолжил Хартог, - если ты скажешь пару личных слов про Рава. Поговоришь о том, каким он был. Как человек. Как отец для нас всех, но прежде всего для тебя.

Довид не ответил.

- Я подготовил для тебя некоторые мысли, Довид. Посмотришь, когда вернешься. Просто парочку идей.

- Я подумаю об этом, - сказал Довид.

Когда Довиду было восемнадцать, он начал обучение в йешиве в Израиле. За неделю до отлета Рав попросил, чтобы Довид навестил его в Лондоне. Довид подумал, Рав даст ему благословение на поездку или на учебу. У каждого слова благословения есть сила, но Всевышний особенно прислушивается к благословениям касательно мудрости и святости. Довид думал, что Рав положит ладони ему на голову и попросит Господа сделать его учебу глубокой и плодотворной. И, конечно, Рав благословил Довида. Но, как только они сели, окруженные книгами, в кабинете Рава, тот заговорил на другую тему.

- Нам стоит поговорить, - начал он, - о твоём браке.

Довид моргнул и постарался не ухмыляться. Для такой беседы определенно еще не время. Девушки могут выходить замуж и в семнадцать, но юноша должен подождать хотя бы до двадцати. Почему они обсуждают это сейчас?

Сделав паузу, Рав оценил реакцию Довида и продолжил сухим, размеренным тоном:

- Довид, тебе будет сложнее найти жену, чем большинству. Для твоей жены не будет достаточно таких качеств, как доброта, скромность и соблюдение, хотя эти вещи, разумеется, важны. Она должна быть... э-э... сочувствующей. Мы должны найти тебе ту, кто поймет твой дар, кто позволит тебе обладать временем и тишиной. Не слишком шумную, не болтушку. Кого-то, - Рав немного вздохнул, - кто видит саму суть вещей, кто слышит голос нашего мира. Кого-то, кто приспособлен к тишине.

Он снял очки, потер переносицу, а затем посмотрел на Довида.

- Довид, тебе не стоит волноваться. Время еще не пришло. Я просто хотел, чтобы ты знал, что мы с твоими родителями обсудили этот вопрос, и что они будут рады, если я найду подходящую девушку. Может, ты познакомишься с одной или двумя, когда вернешься домой на Песах, а может, и нет. Это займет некоторое время, но мы узнаем ее, когда найдем.

Рав сжал руку Довида в своих ладонях.

Довид ушел после этого собеседования с ощущением уверенности и нерешительности одновременно. Он чувствовал, как будто течения воздуха двигались около его лба. Сейчас они просто ерошили его волосы и целовали его лоб, но однажды они подберут и отнесут его на новое, загадочное побережье. Он думал, с кем же Рав его познакомит и на каком основании примет решение. И, хоть Рав и сказал, что они узнают ее, как ее узнает сам Довид?

В пятницу ранним утром Довиду позвонил из Хендона Менч, его напарник по изучению гемары по вторникам и четвергам.

Сначала Менч говорил медленно и неуверенно, а потом набрался решительности. Довид молча слушал. Раз или два Менча беспокоила тишина в ответ, и он, в панике повышая голос, спрашивал, слушает ли Довид. Довид отвечал: «Я здесь» и продолжал слушать, ничего не говоря. Менч говорил о слухах, которые до него дошли. «Люди, - говорил он, - люди говорят...», и Довид подумал: «Наши слова поглотят нас. Мы выплевываем их, чтобы потом в них утонуть».

Когда Менч дошел до того, что могут начать говорить о нем, если бы он не рассказал Довиду, он уже говорил с невероятной скоростью. У Довида сложилось впечатление, что тот не контролирует свои слова. Он подумал, что его собеседнику нужна пауза. Не дожидаясь, пока Менч закончит предложение, Довид сказал:

- Спасибо.

Менч прекратил говорить.

- Спасибо, - снова сказал Довид. – Спасибо, что позвонил.

- Но разве ты не хочешь...

По-видимому, его слова еще не полностью потеряли свою сласть над ним.

- Я знаю, почему ты позвонил, - сказал Довид. – Спасибо за добрые намерения.

- Ну, я...

- Боюсь, что мне надо идти. Пока, Яков.

Довид повесил трубку. Он сел на скамейку с мягкой обивкой в коридоре родительского дома. Снова встал. Он снова потянулся рукой к телефонной трубке, почти подняв ее, но одернул руку. Он стоял, положив руки в карманы, и рассматривал картины на стенах, те же самые, которые висели тут, когда он и его братья были детьми: фотография Стены Плача в Иерусалиме; картина, изображающая человека с шофаром; ктуба – брачный договор – его родителей, украшенная гранатами и пучками пшеницы. Он заметил, что картины были покрыты приличным слоем пыли. Он предположил, что у его матери больше нет энергии – или желания – протирать пыль.

Пора ехать. Он пообещал жене, что вернется в Лондон до Шаббата, а Шаббат не ждет. Его мать приготовила ему еду в дорогу – несколько сэндвичей, фрукты в бумажных пакетах, маленькие упаковки сока. Отец Довида сжал его плечо и поблагодарил за визит – как будто, подумал Довид, он – врач, которого вызвали на дом, или неожиданный гость. Он почувствовал неожиданную грусть, висящую возле его горла, как каменный кулон; гладкий, холодный комок, мешающий говорить. Он сглотнул пару раз, поцеловал мать, пожелал родителям хорошего шаббата и ушел.

Как и говорил Рав, Довид знал, когда все случилось. У него были каникулы в йешиве. Сразу после отъезда Ронит. В этот период Эсти казалась наиболее ранимой и одинокой. Это

было в конце недели, которую он провел с постоянной головной болью, окрашенной в розовый цвет. Эсти все еще приходила в дом, как будто ожидала, что Ронит в любой момент вернется и все так же будет в своей старой комнате. Как будто Ронит не заявила им радостно, что она не вернется, никогда больше не вернется. Эсти ждала. Казалось, она может ждать вечность.

Довид просто посмотрел на нее однажды и понял. Это было совершенно непросто, ведь правдивого знания не достигнуть без боли. В момент осознания его боль розового цвета вызвала тошноту и, зажав рот рукой, он побежал к унитазу. Но в этот момент определенности он знал, о чем и говорил ему Рав. И знание принесло ему грусть и тяжесть, но его нельзя было отрицать.

Вспоминая об этом, Довид почувствовал в сердце боль за свою жену и рвение увидеть ее. Это было как страстное желание попробовать еду, которой он не ел с детства, напоминающее ему об ощущении, которое он давно забыл. Он ясно чувствовал, как будто она рядом с ним, и не мог смириться с тем, что это было не так. Он сел за руль и направился в сторону Лондона.

За все эти годы я не раз говорила с д-ром Файнголд о тишине. Обычно они проходили следующим образом. Она говорила, что я что-то скрываю, что я должна быть честна с собой, и что я что-то недоговариваю. И я говорила: «Ну, я же англичанка, мне сложно говорить о чем-то, кроме погоды». Она говорила: «Я не куплюсь на это». Я говорила: «Может, меня просто сдерживают». И она отвечала: «Да, сдерживают; чтобы перестать сдерживаться, тебе надо говорить со мной». Я говорила: «Видите – тишина. Когда сомневаешься – тишина. Тишина – ответ на большинство происходящих вещей». А она говорила: «Нет. У тишины нет силы. У тишины нет власти. Посредством тишины слабые остаются слабыми, а сильными остаются сильными. Тишина – способ угнетения».

Ну, наверное, она должна была это сказать. Если бы все в Нью-Йорке вдруг решили, что тишина – это ответ, она осталась бы без работы.

Моя жизнь в Нью-Йорке полна шума. Когда я открываю окно, я слышу болтовню прохожих и рычание машин. Где бы я ни была – в магазине, в метро, даже в лифте – всегда играет музыка, и кто-то пытается что-то мне продать. Я оставляю телевизор включенным, когда ем, одеваюсь или читаю. Я просто отвыкла от тишины. Наверное, поэтому дни, когда Довид был в отъезде, были такими странными.

Я вернулась в дом Эсти и Довида. Я спала там каждую ночь; когда я увидела свою комнату, полную мусора, я поняла, что мне там не место. В доме Эсти и Довида хотя бы было где дышать. И я набралась смелости прийти тогда, когда Эсти еще не спала. Но она со мной не разговаривала. Более того, она не находилась со мной в одной комнате и даже на одном этаже. Если я спускалась вниз, она ждала, пока я окажусь в гостиной или на кухне, а потом сновала наверх и пряталась в своей комнате. Если я поднималась наверх, она бежала обратно вниз. Однажды я заманила ее в прихожую. Я прождала в гостиной, пока не заскрипела половица под ее ногами, когда она выходила из кухни, и выскочила. Я сказала:

- Эсти, ты не думаешь, что нам надо...

Она смотрела на меня пару секунд, и я подумала: «Эй, кажется, нам удастся поговорить». И тут она забежала в туалет. Она пробыла там сорок восемь минут. Я посчитала. Когда она наконец появилась снова, она прошла прямо на кухню и закрылась там. Мне хотелось подойти к двери и прокричать: «Знаешь, Эсти, справиться с отказом

таким образом – это и неразумно, и не по-взрослому». Но я этого не сделала.

Последующие несколько дней я провела в доме отца - приходила рано утром и оставалась до поздней ночи. Я не могла зайти в свою старую комнату, я просто не могла себя заставить, но я перебрала вещи в папиной спальне и коробки в комнате Довида. Я не знала, что делать с этими находками. Нет ли никакой организации, которая заинтересуется огромными архивами газетных статей о иудаизме с сороковых по девяностые годы? А старой одеждой, книгами в мягкой обложке, кухонными принадлежностями - настолько старыми, что они уже могут считаться ретро? Я собрала в кучку то, что хотела забрать: несколько книг и пару старых фотографий, но подсвечников как и не было.

Возвращаясь вечерами, я находила еду, которую Эсти оставляла для меня на кухне. Я хотела попросить ее перестать и сказать ей, что я могу сама о себе позаботиться, но знала, что это может ее расстроить, так что обсуждение этого вопроса было невозможным. В любом случае, еда была вкусной, и я не жаловалась. Итак, каждый вечер я уплетала тарелку чего-либо, что приготовила Эсти, и радовалась, что я нахожусь в месте, которому ещё не чужды признаки жизни, путь и смутные.

В четверг вечером, в последний день перед возвращением Довида из Манчестера, у нас был гость. Как обычно, Эсти поужинала до того, как я пришла, и уже была в своей комнате. Я сидела в гостиной со спагетти с болонским соусом, листая газету, и сожалела об отсутствии телевизора, который скрасил бы мои одинокие трапезы. Я слышала звук переворачивающихся страниц, ударяющейся о тарелку вилки и собственного жевания. Громко тикали большие витиеватые часы на камине (подарок от дневной школы имени Сары Рифки Хартог на свадьбу мисс Блумфилд). Глядя на часы, я подумала, что, может, эта тишина даже пойдет мне на пользу.

В дверь пронзительно и резко позвонили. Я осталась на месте; я, всё-таки, здесь не живу. Через несколько секунд я все ещё не слышала никакого движения наверху. Наверное, Эсти боялась, что я пойду открывать дверь, и она тоже пойдет открывать дверь, и, столкнувшись, мы будем вынуждены разговаривать. Звонок прозвенел снова. Я вдруг почувствовала раздражение на Эсти. Естественно, у меня не может быть гостей, особенно неожиданных и в девять вечера. Так что это какая-нибудь ее подруга, или друг Довида, или мужчина, который стучится в каждую дверь с мезузой и собирает деньги на цдаку - благотворительность. В любом случае, это ее ответственность.

В дверь громко постучали три раза, как будто звонивший сомневался в действительности звонка. Наверху все ещё ни звука. Я отложила газету и пошла открывать дверь.

На пороге стоял Хартог. Он был в дорогом тёмно-синем костюме в вертикальную полоску, на нем был бордовый галстук, а в руке он держал черную кожаную папку. Он выглядел, как будто собрался на заседание совета директоров.

- Добрый вечер, мисс Крушка, - сказал он. - Надеюсь, я не слишком поздно.

Я поняла, что стою в дверях в штанах для бега и футболке с надписью "ГРОМКАЯ ЖЕНЩИНА" и пятном от томатного соуса.

- Ничего, - говорю, - заходите.

Он кивнул, зашёл в гостиную, осмотрел разные опции для сидения и выбрал наименее ободранное кресло. Он положил черную кожаную папку на кофейный столик и расслабленно положил наверх ладонь. Как будто он обладал этим местом, подумала я, как будто оно принадлежало ему.

Он помолчал. Я ждала. Пару секунд мы смотрели друг на друга в тишине.

- Чем я могу помочь, Хартог?

Хартог откинулся в своем кресле и потянулся, поворачивая голову из стороны в сторону. Он совершенно никуда не торопился. Он сказал:

- Знаете, мы удивились, когда увидели Вас на прошлой неделе. - Он слегка приподнял бровь. - Надеюсь, Вы не почувствовали себя непрощенной. Довид не упоминал, что Вы здесь, хотя, конечно, Довид...

Он оставил предложение незаконченным и махнул рукой, как будто пытаюсь сказать, чтобы я приняла все как есть.

Я села, сложив руки на груди. Не хватало ещё стоять возле него, как секретарша. Я ответила:

- Нет, Хартог, заверяю Вас, что я хорошо провела время. Не могу припомнить лучшей шаббатней трапезы.

Хартог сузил глаза и поджал губы. Казалось, он собирался что-то сказать, а потом передумал. Он взял свою черную папку.

- Ну, тогда к делу.

- К делу?

Он открыл папку, положив ее к себе на колено.

Ее содержимое было тщательно упорядочено, все документы находились в прозрачных обложках, и на каждом был ярлык. Папка была тонкой - может, всего тридцать или сорок листов бумаги. Я попыталась прочитать вверх ногами ближайший ко мне, но Хартог прикрыл его от меня.

- Нам нужно прояснить несколько исключительно административных вопросов, связанных со смертью Вашего отца, - сказал он, листая свою папку. - Я надеюсь, Вас не слишком огорчит такая беседа?

Я потрясла головой.

- Ну, тогда... - Хартог аккуратно достал один из собранных в папку документов и протянул его мне. Это был акт приема-передачи папиного дома. - Если Вы обратите внимание на пятую страницу, - начал он размеренным, профессиональным тоном, - то увидите, что дом принадлежит совету прихожан синагоги.

Я кивнула. Хартог посмотрел на меня, как будто ожидая большей реакции. Возможно, он думал, эта новость меня шокирует. Мой папа объяснил это мне давным-давно: дом принадлежит синагоге, Рав живёт в нем. Абсолютно нормальная практика. Они что, собирались обвинить меня в нарушении порядка их собственности? Я изучала акт ещё несколько секунд, а потом вручила его обратно Хартогу.

- Полагаю, содержимое дома будет удалено, пока не выберут нового Рава? - спросила я.

Хартог посмотрел на меня.

- Не волнуйтесь, - продолжила я, - мне нужны всего пару вещей. Скоро я с этим закончу.

Хартог улыбнулся.

- Я рад, что Вы подняли эту тему, мисс Крушка. - Он поместил акт обратно в папку и заговорил снова, перелистывая страницы. - Содержимое дома, разумеется, принадлежало Раву. Особенно хороша его коллекция талмудических книг, в основном подаренных друзьями со всего мира. Вы об этом знаете.

Я кивнула.

Хартог снова улыбнулся и, достав из папки второй лист бумаги, положил его передо мной на стол с видом игрока в покер, показывающего выигрывающую руку.

- Это воля Рава, подписанная и заверенная. Как видите, он оставил содержимое дома синагоге.

Он взглянул на меня.

- Теперь, мисс Крушка, я знаю, что Вы посещали дом Рава и намереваетесь забрать некоторые предметы.

Я подумала о Хинде Рохел Бердичер, которая работает на Хартогу, и чья красная помада вечно оставляла пятна на зубах. Я вспомнила дружелюбный воскресный визит.

- Должен Вам сказать, - продолжил Хартог, все ещё едва заметно улыбаясь, - что, как представитель синагоги и, к тому же, - он опустил взгляд, - человек, восхищавшийся Вашим отцом, я бы счёл это нарушением своего долга - позволить Вам забрать имущество синагоги. Боюсь, я не могу этого разрешить.

Он смотрел на меня. Часы, щедро подаренные дневной школой имени Сары Рифки Хартог, тикали. Тишина между нами так затянулась, что я почти могла слышать ее медленное и ровное сердцебиение.

- Чего Вы хотите, Хартог?

Он нахмурил бровь.

- Чего я хочу, мисс Крушка? Ничего, кроме как выполнить свою обязанность как избранного сотрудника синагоги.

Херня, хотела сказать я. Я вцепилась ногтями в подлокотник кресла. Я ждала. Он не собирался выходить без этого, что бы это ни было.

Хартог переложил пару-тройку документов в своей папке. Я подумала о том, насколько Хартог богат. Это с человеком делает богатство? Богатство дает человеку возможность сказать другому человеку что угодно, насколько не беспокоясь, что тебе может однажды понадобится его помощь? Хартог, видимо, довольный порядком своих документов, снова поднял взгляд на меня.

- Но есть один вопрос, который мы должны обсудить, - сказал он. - Как Вы знаете, мы организовываем хеспед в конце месяца скорби - черед две недели. К нам присоединятся много выдающихся раввинов со всего мира. Ваш отец был всеми уважаемым и любимым человеком.

Я кивнула. Я уже слышала об этих планах от Довида.

- Мы, совет прихожан синагоги и я, хотим, чтобы этот хеспед стал подходящим поминовением Вашего отца, его религиозного и духовного наследия. Мы хотим избежать ненужных сложностей, понимаете? Мы хотим, чтобы мероприятие прошло гладко.

Он спокойно смотрел на меня, словно пытаюсь вычислить, поняла ли я его. Я посмотрела в ответ. Я догадывалась, что последует за этим; я не собиралась говорить это за него.

- Мы бы хотели, совет прихожан синагоги хотел бы, чтобы Вы не посещали хеспед. - Он помедлил. - В ответ мы готовы позволить Вам забрать из дома Рава нужные Вам вещи.

Лицо Хартога не выражало эмоций. На нем не было ни намека на беспокойство или смятение. Интересно, как долго он готовил эту речь?

- Итак, давайте убедимся, что я правильно Вас поняла, - сказала я. - Вы хотите, чтобы я не пошла на поминальную службу своего же отца, и подкупаете меня предложением забрать те вещи, которые уже и так мои по праву?

- Я бы не хотел использовать слово "подкупать", мисс Крушка. Думаю, мы оба согласимся, что для блага общины...

Тогда я разозлилась.

- Что? Что, черт возьми, случится с общиной, если я приду на хеспед?

- Ну, - сказал он, широко разведя руки и улыбаясь своей едва заметной высокомерной улыбкой, - нам не нужно в это вдаваться, не правда ли? Ходят некоторые слухи, мисс Крушка, некоторая информация, которую Вы сами и не отрицаете. Конечно, совет прихожан не слушает лашон хара, но, поскольку Вы сами это признали... Это было бы просто неуместно.

- Неуместно, потому что я сказала, что я лесбиянка?

Улыбка Хартога покинула его лицо.

- Нет, мисс Крушка, неуместно, потому что за последние четыре дня мне об этом сказали ещё семь человек. Вы теперь пользуетесь своего рода дурной славой. И мы хотим, чтобы хеспед был тихим и радостным празднованием жизни Рава, а не... - Он сделал паузу. - Цирком уродов.

Тут я стала необычайно спокойной.

Я начала думать о том, какое у Хартога чрезвычайно ударябельное лицо, и как его нос сидит прямо по середине, как мишень.

Я почти засмеялась.

- Знаете, - сказала я, - Вы не можете избавиться от этого, избавившись от меня. Я все равно уеду через пару недель, но дело не во мне, Хартог, это не я Ваша проблема.

- Правда? - спросил Хартог. - Тогда странно, что проблема прибыла одновременно с Вами. Я бы не назвал это совпадением. А Вы, мисс Крушка?

Мы смотрели друг на друга. В тот момент я собиралась сказать ему все, объяснить ему, что его маленький идеальный мир никогда не сможет быть идеальным. Что нельзя просто закрыть глаза на тревожащие вещи и поверить, что их нет. Я хотела сказать ему, что этот мир никогда не был идеальным, даже немножко, и что у меня были для этого доказательства. Но, правда, он не поймет. Он не поймет, и Хинда Рохел не поймет, и члены совета прихожан синагоги не поймут. Как говорит д-р Файнголд, только ты сам можешь спасти себя.

Вместо этого я сказала:

- И Вы не думаете, что это “неуместно” - провести поминальную службу для Рава без его семьи?

Хартог махнул рукой:

- Там будет Довид, сестра Рава, возможно, его брат прилетит из Иерусалима. Семья будет, Вам не стоит об этом беспокоиться.

Моя правая рука непроизвольно сжалась в кулак.

- Что именно Вы от меня хотите?

Хартог откинулся в кресле. Он снова потянулся, двигая головой из стороны в сторону.

- Мы хотим, чтобы Вы тихо уехали прямо перед хеспедом. Не нужно ничего драматизировать. Вы можете просто сказать, что на работе возникли вопросы, требующие Вашего внимания. Мы понимаем, что это понесёт за собой некоторые затраты, и мы готовы их возместить и вместе с тем скомпенсировать Вашу утрату.

Он предъявил чек, держа его между большим и указательным пальцами.

- Как Вы видите, мы более, чем щедры.

Он передал мне чек. Я посмотрела на него. Двадцать тысяч фунтов стерлингов. Это где-то тридцать три тысячи долларов. Более чем достаточно, чтобы оплатить двадцать билетов

до Нью-Йорка. Я заметила, что, хоть Хартог и сказал «мы», чек не был выписан со счета синагоги; он был с его личного счета. Было очевидно, что Хартог сам финансировал свой план, как бы он ни хотел преподнести это как желание общины.

Я перевернула чек и посмотрела на него испытывающим взглядом.

- И Вы не хотите использовать слово «подкупить», Хартог?

Хартог поджал губы. Я заметила, что его лицо побелело.

- Нет, это слово неуместно, - сказал он.

- А что, если я откажусь? Что, если я приду на хеспед?

Хартог резко вдохнул.

- Ты не понимаешь? – прикрикнул он. – Всем только будет за тебя стыдно. Никто не хочет там тебя видеть. Большинство едва тебя помнит, а для тех, кто помнит, ты всего лишь позорище. Ты хоть представляешь, как сложно Эсти и Довиду принимать тебя? Как им сложно, когда о них так говорят? Ты не видишь? Они уважаемые общиной люди. У них есть место здесь, а ты, - он помолчал, - твое место точно не тут.

Он опустил взгляд на свои руки, а потом снова поднял его на меня.

- Мисс Крушка, - сказал он. – Ронит. Я верю, что мы, совет прихожан и я, сделали тебе очень щедрое предложение. Мы просто защищаем нашу общину, наследие твоего отца. Я не понимаю, я правда не понимаю, почему спустя столько времени ты захотела приехать сюда и атаковать нас. Ты наверняка обосновалась в Нью-Йорке. Думаю, там для тебя намного более подходящее место. Мы просто хотим жить, как привыкли, чего, я уверен, также хочешь ты.

Моим первым инстинктом было сказать Хартогу, что он может катиться со своим чеком к черту. Я не позволю, чтобы мне диктовали, куда я могу ехать, а куда нет, и какое место для меня подходящее. Но когда я посмотрела на него, на его ударябельное лицо с чопорной, высокомерной улыбкой, я подумала: нет. Это не моя борьба. Насчет этого Хартог прав, я уехала отсюда давным-давно именно из-за этой херни. Вместо того, чтобы спорить, я могла бы притвориться, что мы с Хартогом оба цивилизованные люди, я могла бы забрать подсвечники, сесть на самолет и улететь. Я могла просто улететь. В конце концов, я уже однажды это сделала. И вместо того, чтобы ударить Хартога, я поняла, что говорю:

- Можно мне время подумать?

Хартог кивнул, как будто именно такой ответ ожидал, и закрыл свою папку.

Я провела Хартога до двери, и он ушел. Он шел резво и уверенно, размахивая своей кожаной папкой. Я стояла в дверях, наблюдая за ним, пока он не скрылся за пределы видимости. Я повернулась, чтобы зайти в дом, и мельком увидела какое-то движение и услышала звук на лестнице. Я подняла глаза и увидела Эсти, сидящую наверху лестницы, обняв колени. Она наблюдала и слушала. Ее лицо было бледным, а глаза – бесконечно черными.

===== Глава девятая =====

Глава девятая

Да будет это знаком между Всевышним и Сынами Израиля навечно, что шесть день Господь творил небеса и землю, а на седьмой день Он отдыхал.

Исход 31:17, читается в пятницу вечером, в начале Шаббата

Разумеется, нелепо говорить о том, как Господь отдыхает. Разве мы можем верить, что Эйн Соф – Тот, кому нет конца, - устал от Своего труда? Что Его мышцы ослабли? Мы не

дети, чтобы верить такому вздору. Тогда что Тора имеет в виду, когда она говорит нам, что Бог отдыхал на седьмой день? Наши мудрецы объясняют, что не столько Всевышний отдыхал на седьмой день, сколько на седьмой день он изобрел отдых.

Важно понимать, что мы не говорим про сон, еду или время, необходимое, для подкрепления уставших мышц. Все это только формы работы. Они существуют, чтобы служить работе. Мы спим, едим, расслабляем конечности и умы, чтобы быть готовыми к последующей работе. А если все, чем мы являемся, - это работа, тогда кто мы? Мы работаем, чтобы нам было что есть и что подложить под голову во время сна. Мы едим и спим, чтобы работать. Мы – бесконечно размножающиеся машины.

Но Шаббат показывает нам, что это не так. Шаббат – не день отдыха или развлечений, это день воздержания от творения. Это день, когда мы ступаем по миру легко. Мы не используем транспорт с колесами или моторами, мы не тратим деньги, мы не говорим по телефону и не используем электронные приборы. Мы не носим вне дома даже настолько маленький предмет, как носовой платок, даже в кармане. Мы не готовим, не копаем, не пишем, не плетем, не шьем, не рисуем. На Шаббат пытаемся как можно меньше изменять мир своим временным пребыванием в нем. Вместо того, чтобы совершать работу, мы едим заранее приготовленную еду, разговариваем, спим, молимся, гуляем – делаем простые человеческие вещи. Таким образом мы противостояем импульсу постоянно вмешиваться в ход событий, изменять мир, подстраивать его под наши желания, как будто наши желания - это единственное, что важно. Шаббат нужен для того, чтобы убрать руки с руля и дать ему крутиться самому.

И в этот момент мы доходим до самой сути вещей. Ведь если мы не отвлекаем себя действиями и работой, мы наконец приходим к самим себе.

Этот гул, это тиканье часов, отсчитывающих время до Шаббата, - простая вещь, но невероятно требующая и не позволяющая неповиновения. Пятницу невозможно отложить. Шаббат нельзя перенести даже на полминуты от назначенного времени, и те, кто пренебрегают его прибытием, совершают серьезное нарушение.

Эсти встала ровно в шесть утра. Рассвет ещё не прошептал небу свои утренние слова, но на востоке уже были видны несколько светло-голубых мазков. Несколько секунд она смотрела, как в небо закрадывается свет. Сегодня пятница, а пятница не ждет. Сегодня пятница, и каждую минуту от этого момента до заката она будет знать, который час. Она посмотрела на календарь на стене. Шаббат начнется в шесть восемнадцать вечера. Она быстро оделась, собрала волосы в свободный пучок и спрятала их под снуд. У нее много дел. Она, как и пятница, не может медлить.

Она мысленно пробежалась по своему списку. Нужно было постирать и погладить одежду, купить и приготовить еду, убрать комнаты, накрыть на стол и, и... Что-нибудь ещё? Ну конечно. Особое задание. Сколько оно займет? Трудно сказать. Сначала нужно сделать все остальные дела из списка. Тогда она сможет планировать дальше.

В последующие восемь часов она работала. Она делала то же, что и каждую неделю - покупала ту же самую еду, готовила те же самые блюда. В этом было какое-то успокаивающее чувство порядка. Она поняла, что не волнуется, когда готовится к Шаббату. Она взяла в пекарне большие халы, теплые и блестящие. В продуктовом магазине - свежие фрукты и овощи. Она на мгновение задержалась у аптеки, раздумывая. Миссис Салман, женщина из синагоги, проходила мимо через дорогу, нагруженная пакетами. Миссис Салман заметила Эсти, улыбнулась и с некоторым трудом помахала ей. Что ж. Тогда выполнить

особое задание здесь не получится. Не в Хендоне. Эсти пошла дальше.

В мясной лавке она выбрала пару сырых куриных печенок. Дома она приготовила суп, вскипятив воду в большой кастрюле. На ее внешней стороне сформировались капельки пара. Она посмотрела на часы. Десять ноль-семь. Ближе к концу утра позвонил Довид, чтобы сказать, что уезжает из Манчестера и будет дома через четыре с половиной часа.

Наконец, к полудню, все было готово. Одежда была чистой, шаббатные наряды были приготовлены и поглажены, в доме был порядок. Курица в духовке почти приготовилась, хоть ещё не была достаточно коричневой; суп оживленно кипел на плите. Осталось сделать всего пару вещей, но это после того, как она вернется. Тело Эсти обращалось к ней тихим неустанным голосом. Сегодня. Это нужно сделать сегодня. Она выключила духовку и плиту, взяла сумку и ушла на вокзал.

День был не по сезону теплым, и в дороге Эсти начала потеть. Всем телом она чувствовала, будто тысячи глаз Хендона смотрели на нее. “Это случайно не Эсти Куперман?” “Куда это она так торопится?” “Да ещё в пятницу днём!” Куда может спешить замужняя женщина всего за несколько часов до Шаббата? Они знают, они все знают. Эсти поняла: эти глаза не дружелюбны. Она не могла доверять им свои секреты. Она попыталась сделать медленный вдох и тихо сказать своим мышцам, что они могут расслабиться. Ее ноги не слушались. Они неслись все быстрее и быстрее.

На вокзале она столкнулась с дерзким и неизбежным фактом: она не знала, куда идти. Нужно пойти куда-то, где бы она никого не встретила, куда-то, где никто бы не посмотрел на нее и не сказал: Эсти Куперман. Но где в Лондоне есть такое место? Она посмотрела на часы - три двадцать. Довид скоро будет дома. Шаббат начинается в шесть восемнадцать. У нее не было времени на эту неопределенность. Гудение в ее голове стало громче и настойчивее, напоминая: тик-так, тик-так. Она пробежалась глазами по карте Северной Линии. Вот оно. Точка пересечения. Камден Таун. Она купила билет, радуясь простым вопросам автомата: “Куда Вы едете?” вместо “Зачем Вам туда?”.

В дороге она снова считала. Ритм пути подходил для счета. Она считала первые три дня, потом еще, и еще. Она считала снова и снова, и результат каждый раз получался одинаковый, и каждый раз неправильный. Она прислонила голову к прохладной стеклянной перегородке, чувствуя усталость и слабость. Она закрыла глаза и слушала ритмичный звук движения поезда, так похожий на тиканье в ее голове. Только когда двери уже почти закрылись, она заметила, что поезд прибыл в Камден Таун. Она вскочила и поспешила к выходу.

Камден был жарким, громким и пахучим. Эсти стояла возле вокзала, прижав к себе сумку, и смотрела вокруг себя. Худой молодой человек с надписью “НА ХРЕН ЛЮДЕЙ” опирался на перила и ел запеченную картошку из пластмассового контейнера. Он тыкал в нее вилкой, как будто желая причинить ей боль. Неожиданно он скривил рот и кинул свою еду на землю. Он ушел. Ароматное растаявшее масло стекало по тротуару. Небольшая собака, которую вела на поводке женщина в розовых сандалиях, остановилась и лизнула масло пару раз. Мир вертелся. Эсти показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Люди и магазины начали сливаться в одно сплошное вибрирующее пятно. Вдруг все перевернулось вверх ногами.

В отличие от Хендона, Камден не замедлял свой ход в шесть восемнадцать вечера. Улицы не стихали, машины не переставали ездить. Эти люди не подготовились к Шаббату и не слышали гудящий звук пятницы в своих головах. Из-за этой мысли Эсти почувствовала

слабость, дурманящую боль и выдох сострадания. Она держалась за перила, тяжело дыша. Она посмотрела на часы - три пятьдесят три. До Шаббата осталось два часа двадцать пять минут. Эта мысль немного ее успокоила. Все еще опираясь на перила, она огляделась. Она смотрела на проходящие мимо лица, каждое поглощенное своими мыслями. Никогда не слышавшие про Шаббат, никогда не знавшие его. Как будто они ни разу не познали любовь: и ужасающе, и прекрасно одновременно. Она думала о них раньше, о людях, не знавших Шаббат. Она думала о том, как Ронит чувствовала себя в Нью-Йорке – без ограничений, без стеснений, без порядка, без своего рода якоря. Что-то, одновременно и пугающее, и желанное.

Подняв голову, Эсти искала необходимое ей место – аптеку. Ее сердце сильно колотилось в груди; она попыталась дышать не так часто. Через дорогу располагалась одна аптека. В ней все было яснее и спокойнее. Люди двигались медленнее, говорили тише. Хоть она и была окружена горами продуктов, они были упорядочены и разделены на категории. Это придало ей спокойствия, и она начала искать.

Она прошла возле каждого стеллажа, поворачивая голову влево и вправо. Она считала. Последние два дня она прибавляла и отнимала, считала и пересчитывала. Но, возможно, она ошиблась? Как глупо выйдет, если все это время она просто считала неправильно. Она прошла мимо шампуней и кондиционеров, кремов для удаления волос и спреев для их восстановления, дезодорантов и духов, витаминов и минералов. Искомый ей предмет находился прямо возле контрацептивных продуктов, словно демонстрируя закон о причине и следствии.

Она повертела упаковку в руках. На ней утверждалось: «Наиболее быстрый и точный результат». «Рекомендовано докторами» и «Использовать в первый день менструального цикла». Она снова посчитала дни. Дни кровотечения, дни подсчета после кровотечения, день миквы, дни после миквы и до того, как прибыла Ронит, дни после приезда Ронит. Двадцать девять дней. Завтра будет тридцать. Она не чувствовала ни боли, ни других признаков. Она держала упаковку в руке и оглядывалась по сторонам, проверяя, не следит ли кто за ней.

Пожилой мужчина с желтоватыми глазами, прищурившись, рассматривал зубные щетки в поисках скрытых недостатков. Ближе к Эсти молодая чернокожая женщина, волосы которой были заплетены в мелкие косички с цветными бусинами на концах, интересовалась увлажняющими кремами. Обе ее руки были красные и шершавые, от запястья до локтя. Эсти вдруг почувствовала еще одну бурлящую волну усталости; на секунду она увидела двух женщин с косичками вместо одной. Эсти резко прислонилась к одной из полок, и несколько упаковок с грохотом упали на пол. Молодая женщина посмотрела на нее и отошла. Эсти сжала предмет в руке и снова на него посмотрела. На нем было написано: «Результат за одну минуту». Она посмотрела на часы – четыре двадцать пять. Пятница не терпит опозданий. Осталось меньше чем два часа. Тик-так, тик-так, нет времени на эту ерунду.

У кассы была небольшая очередь. Пожилой мужчина перед ней выложил семь зубных щеток и спросил про цену каждой, прежде чем принял окончательное решение. За ней пухлого телосложения индианка, вздыхая, рылась в своей сумке. Она улыбнулась Эсти; Эсти улыбнулась в ответ. Пожилой мужчина решил не покупать ни одну из щеток и удалился. Эсти протянула упаковку кассиру. Индианка, глядя из-за плеча Эсти, воскликнула: «Ой!».

Эсти обернулась. Женщина лучезарно улыбалась. Она мягко положила ладонь на руку Эсти.

- Это благословение от Бога. Понимаете? Благословение от Бога, - она указала пальцем вверх. Эсти кивнула. Смутившись, она дала кассиру больше денег, чем нужно было. Ей дали сдачу. Она поспешила к выходу, но женщина ухватилась за ее рукав.

- Запомните, - сказала она. – От Бога.

Время начала Шаббата известно Всевышнему лучше, чем самым точным часам. В Его бесконечном разуме (да будет нам дозволено говорить о Его разуме) шестой день становится седьмым без суеты и усилий, с абсолютно четкой границей между одним и другим. Человеческому разуму, однако, не доступно такое понимание, ведь Шаббат был создан Господом, это божественное явление, а человек – всего лишь человек. Поэтому наши мудрецы, интересовавшиеся переводом божественного на человеческий язык, ввели восемнадцать минут. Хоть Шаббат начинается ровно в момент захода солнца, время начала Шаббата, напечатанное в календарях и газетах, призывает нас принимать Шаббат за восемнадцать минут до заката. Наиболее желательно и похвально начинать Шаббат в назначенное время, чтобы избежать сомнений. Но если у кого-то нет возможности, он может воспользоваться этим запасом времени. Восемнадцать минут милосердия перед началом святого дня.

К тому моменту, как Эсти прибыла домой, до Шаббата оставалось всего тридцать четыре минуты. Небольшая упаковка в ее сумке говорила о надежном результате спустя одну минуту. Довид и Ронит уже вернулись, но сейчас Эсти не могла об этом думать. Она разогрела суп, поджарила курицу, подогрела картофель, приправила чолент, покрыла глазурью пирог. Пятница была в нетерпении: тик-так, тик-так. Словно волна, она наступала медленно, но верно и неумолимо. Тик-так. Тик-так.

За три минуты до начала Шаббата все было готово. Она выключила духовку и плиту, заправила выбившиеся пряди волос под снуд и с удовлетворением огляделась. Были приготовлены две трапезы – курица и картофель, блестящий рис, бурлящий чолент, тушеные овощи, испеченные и украшенные пироги. Довид уже ушел в синагогу; она слышала, как за ним закрылась дверь. В гостиной были подготовлены свечи. Пора зажигать. Она ничего не забыла? «Точный результат за одну минуту», - напомнил голосок в ее голове. Тик, говорила пятница, так. Пора зажигать свечи. Шаббат почти начался.

Тик.

Эсти побежала вверх в ванную, скрыв упаковку в своем рукаве. Она посмотрела на часы – восемнадцать минут уже начали свой отсчет. Заперев дверь, она снова изучила упаковку. Одна минута для надежного результата. У нее было время.

Так.

Инструкции были более запутанными, чем она ожидала. На то, чтобы прочитать и понять их, ушло несколько минут. Наконечник пластиковой палочки должен быть погружен только на пять секунд. Она должна засечь время, отсчитывая секунды и не допустив ошибок. Она разорвала пластиковую упаковку.

Тик.

Она подождала, пока изменится цвет. Это непременно была чрезвычайная ситуация, которую нельзя отложить до конца Шаббата. Она посмотрела на часы. Тринадцать минут превратились в четырнадцать. Она должна оставить время на зажигание свечей. Можно ли вообще смотреть на это после начала Шаббата? Ее наверняка запрещено даже трогать – объект, меняющий цвет, не представляющий назначения в Шаббат. Долго ли ей придется

ждать?

Так.

Она выглянула из окна ванной комнаты. На голубизну неба упала некая зрелость. Яблоневые листья, красночерепичные крыши, припаркованные машины, дороги выдохнули, говоря: «Все, работа на эту неделю завершена». Эсти снова посмотрела на часы. Шестнадцать минут. Новые краски на небе стали несколько более глубокими. Наступал Шаббат. Она посмотрела на окошко пластиковой палочки и нашла в нем голубую линию. Эта линия была границей между одним состоянием и другим. Эта линия говорила ей о новых началах и об идеально упорядоченных переменах.

Д-р Файнголд говорит: бессознательное не знает прошлого или будущего. Для бессознательного все происходит здесь и сейчас. Травма, случившаяся, когда тебе было четыре, сейчас кажется такой же страшной, как и тогда. «Травма, случившаяся, когда мне было четыре – например, смерть моей мамы?» - спрашиваю я. «Да, - говорит она, - например. Хочешь поговорить об этом?»

Я говорю ей, что ее идеи о бессознательном напоминают мне о Боге. Она говорит: «О Боге?». В Торе Мойше просит Всевышнего назвать Свое имя. И Он дает ему слово: יהוה - יהו . В нем нет гласных, так что его невозможно произнести при всем желании. Это несуществующее соединение трех времен глагола «быть», сжатое в одно слово. Оно значит «был», «существует» и «всегда будет существовать» одновременно. Это учит нас о вечной природе Бога. Прошлое, настоящее и будущее для него одинаковы.

Д-р Файнголд молча слушает. Когда я заканчиваю, она затягивает паузу еще на пару секунд и говорит: «Все же разница есть. Бессознательное ошибается насчет прошлого и будущего. То, что пугало нас в прошлом, на самом деле больше не так страшно. Это отличается от твоей идеи о Боге, не правда ли?»

Я говорю: «Если “моя идея” о Боге верна, тогда бессознательное нисколько не ошибается. Прошлое никуда не уходит. Оно все еще здесь».

В воскресенье пошла в папин дом, просто чтобы проверить. Замки поменяли. Я попробовала один ключ, потом другой, потом еще один, тянула дверь на себя, потом толкала ее вперед. Я стояла там, держа в руке целую связку, стряхивая с петель засохшую красную краску носком ботинка, как будто ради этого я сюда и пришла.

Я прогулялась к боковой стороне дома, открыла ржавую калитку и зашла в сад. Заросшая лужайка пожелтела от жары. Одна из яблонь склонилась пополам, проломившись в захваченную сорняками клумбу. Я пробралась к ней по тропинке. На ней все еще было несколько цветов с начавшими закручиваться коричневатыми лепестками. Я раздавила один указательным и большим пальцами и вдохнула сочный аромат.

Я помню лишь фрагменты. Обнаженные ноги, гортензии, вкус ее губ. Между гортензиевым кустом и забором было место, куда могли забраться две девочки, если были достаточно небольшими и не боялись поцарапать колени. Это было одно из мест, очевидных для детей и скрытых для взрослых. Тайное место. Зимой там не было ничего; куст был голым. Но каждое лето маленькая комната расцветала снова.

Теперь ее нет; куст давно зарос, земля была слишком мокрой, чтобы ползти по ней. Я не могла бы там сидеть, даже если бы захотела. Тем более, я намного больше, чем была тогда. Долгое время я стояла, наклонившись, опершись ладонями о сырую землю и засунув в нее

ногти. Когда я поднялась и начала идти обратно к Эсти и Довиду, я пыталась выскрести грязь из-под ногтей. Чем сильнее я пыталась, тем дальше я ее засовывала.

Мы знали про гортензиевый куст много лет. Как только мы оказывались внутри, мы были невидимы для дома и защищены от лишних глаз. Я помню запах этого куста. Густой, сладкий аромат гниющих гортензий и сырой земли. Когда весной я прохожу мимо гортензиевых клумб на вокзале Гранд Централ, передо мной мерцает резкое, внезапное воспоминание о грязи под ногтями, теплых бордовых свитерах и белизна ее голых, избавленных от колготок ног.

В школе было правило: мы должны были носить плотные, темные, непрозрачные колготки, чтобы мужчина не стал возбужденным, увидев наши ноги. Потому что учителя дневной школы имени Сары Рифки Хартог были уверены, что от вида школьницы в колготках ни один мужчина уж точно не станет возбужденным. После школы Эсти приходила ко мне делать уроки. Думаю, тогда все и началось. Летняя жара, беготня в мою комнату наперегонки, борьба с колготками и босоногий триумф.

Поначалу нам просто нравилось сидеть там, где никто не мог нас видеть. «Никто» - это мой папа, который бы и не искал, и Белла, домработница, которая к этому времени уже уходила домой. Мы сидели там, разговаривали, читали, смотрели на небо из-под душистых нависающих цветов. Но там все и началось.

Мы учили об этом в школе, когда проходили по географии древние обычаи. Мисс Коэн рассказывала об этом, фыркая и кривя губу, чтобы показать нам, что это что-то первобытное и отвратительное. Но я слушала и не считала это отвратительным. Мне казалось, я вспоминала что-то, что всегда знала или о чем давно слышала. Эсти поранила колено. Она всегда что-то ранила или резала; она всегда спотыкалась на физкультуре или на игровой площадке. На ее ладонях и коленях вечно были какие-то корочки: свежие, наполовину зажившие и старые. Но в этот раз она упала на разбитое стекло, оставленное на спортивном поле, и ей наложили пять швов. После этого все девочки с ликованием обсуждали эти «пять швов», представляя, как игла проходит в ткань и выходит из нее. Рана была длинная и искривленная. Она напоминала улыбку с кривыми зубами. Как будто ее колено улыбалось. Даже после швов, потянув за край, можно было снова заставить рану кровоточить.

Так вот, мы сидели за гортензиевым кустом, Эсти поджала колени к груди, а я растянулась на спине, глядя на крышу из листьев и задыхаясь от жары. Рукава наших рубашек были закатаны выше локтя, юбки задраны, колготок не было. Какое небрежное облачение плоти. Веди мы так себя в школе, нас бы наказали за нескромное поведение. Эсти вытянула шею, чтобы изучить улыбающийся шрам на колене. У меня тоже была рана на ладони, только маленькая. Я отодрала коричневую корочку и довольно смотрела, как на поверхности появилась красная бусинка. Я сказала:

- Давай станем сестрами по крови.

Она посмотрела на меня.

- Ну, помнишь, с географии? Мы смешиваем кровь и становимся сестрами навсегда.

Она неловко сжалась, подтянув колени ближе к груди.

- А это больно?

- Только чуть-чуть, надо просто открыть твой порез. Видишь, у меня тоже на ладони кровь. Надо их смешать. Давай.

Она вытянула ногу в мою сторону. Я оттянула край ранки, и в нем появилась кровь. Ее

ноги были прохладными, несмотря на жаркий день. Посмотрев на ее лицо, я увидела, что она закусилла нижнюю губу, и ее глаза вот-вот наполнятся слезами.

- Не плачь, - говорю. – Что ты как маленькая.

Я царапала ранку ногтем, пока кровь не полилась сильнее, и приложила ладонь к ее колену, ранка к ранке. Я посмотрела на Эсти. Она посмотрела на меня. Возле моего уха жужжало какое-то насекомое; легкий ветер тревожил листья над нами; в одном из соседних садов кто-то косил траву. Я поняла, что мой лоб вспотел.

- Ну вот, - сказала я. – Теперь мы сестры.

И убрала руку.

Эсти посмотрела на свое все еще кровоточащее колено и на мою руку, розовую от ее крови. Она взяла мою руку, осмотрела ее и положила обратно на свое колено, ранка к ранке. Она плотно прижимала ее своими холодными пальцами.

Вы должны понимать, говорю я д-ру Файнголд, что это было наше место. Мы его нашли. Мы сидели там с того времени, как весной распустились листья, и до тех пор, пока его не разрушила осень. Мы никогда никому не рассказывали о нем, никогда никого туда не приглашали.

Она говорит: «Так ты чувствовала себя преданной?». Было ли такое? Это правдоподобно. Но я этого не помню. Я помню, что чувствовала злость.

В понедельник я сделала телефонный звонок. Я сказала себе, что это абсолютно ничего не значит. Я согласовала с ними, что да, билет можно отменить как минимум за двадцать четыре часа до полета. Да, стопроцентный возврат. Когда я давала им информацию на своей кредитной карточке, я концентрировалась на мысли, что это всего лишь предостережение; мне никогда это не понадобится. Но я вдумчиво выбрала время полета, как будто правда собиралась полететь.

В тот вечер, за ужином, рука Эсти пробралась к руке Довида. Она легонько дотронулась до его костяшек пальцев. Он удивился не меньше моего, и мы оба то опускали, то снова поднимали глаза. Но ее рука осталась там же, а голову она наклонила вниз, глядя к себе в тарелку.

Что меня раздражает в Эсти, так это то, какая она бессловесная, слишком чувствительная, обычная и, попросту говоря, никакая. То, что она не может признать, какая она, даже самой себе. Даже тогда она не видела то, что видела я. Она не знала. Может и сейчас, черт возьми, не знает. Но я знала.

Тем летом нам было по тринадцать. Тем летом, когда мы стали сестрами по крови. У Довида тогда то и дело болела голова. Он должен был в следующем году пойти в йешиву, но целые дни проводил в кровати. В полдень, когда он был слаб из-за головной боли, я сидела возле его кровати, и мы разговаривали. Вот как все и случилось. Это я их познакомила.

Конечно, они виделись раньше, но никогда особо не разговаривали до того лета. Я привела Эсти, чтобы она навестила его, и он сказал, что она ему понравилась тем, что была спокойная и тихая. Я гордилась, что нашла для него что-то, что ему понравилось, как будто я принесла ему игрушку или книжку. Вот мы втроем и сидели в его комнате, разговаривая. Если честно, больше всех разговаривала я. Я думала, что, не будь меня там, они, наверное, сидели бы в тишине. Так что я благородно спасала их от этого.

Довиду вскоре стало лучше. Три недели спустя у него болела голова всего раз в четыре

дня, и он снова начал учиться по утрам с моим папой, а днем – сам. Но каким-то образом он все равно иногда находил время говорить или играть со мной. Тогда, когда рядом была Эсти. Тогда я этого не замечала. Но заметила в самом конце каникул.

Последнему дню летних каникул всегда присущ какой-то трепещущий страх – страх возвращения в школу, возвращения к тому человеку, которым ты являешься в школе. Мой папа давал мне много заданий, я все время была занята – то возвращала кому-то книгу за него, то он просил меня забрать у кого-то талит для синагоги. Дел было так много, что я опоздала. Эсти должна была прийти попрощаться с Довидом. Он уезжал в Манчестер, мы возвращались в школу и не увидели бы его до зимних каникул. Помню, я думала, как будет ужасно, если эти двое окажутся одни без меня. Им не о чем будет поговорить.

Я бежала быстро, и моя юбка длиной до лодыжек так мешалась под ногами, что мне хотелось просто сорвать ее с себя. Когда я добежала, в гостиной их не было. Может, в комнате Довида? Я ринулась наверх. Ничего. Выглянула из окна. Сад был тих, неслышно двигался гортензиевый куст. Я спустилась вниз и вышла через кухню в сад.

Я услышала шелест листьев и смех. Пробралась внутрь. Довид и Эсти сидели за гортензиевым кустом и смеялись. Вытянув ноги, он сидел весь в пыли; ее юбка задралась и обнажила ноги без колготок. Они оба повернулись ко мне, потом посмотрели друг на друга, потом улыбнулись мне, и Эсти сказала:

- Ой, Ронит, Довид сейчас так смешно пошутил...

Она замолкла, посмотрела на Довида, и они снова начали смеяться.

Не то чтобы они оба были мне так нужны. Я просто хотела, чтобы они были рядом, если что. Я думала, они, как игрушки, останутся там, куда я их положила, и будут слушаться. Они оба такие покорные.

Я выбежала из-за гортензиевого куста обратно на кухню, оттуда в коридор, потом из дома. Я бежала и бежала, не зная, куда направляюсь; мне просто надо было куда-то двигаться. Сейчас я понимаю, что это было опасно, и мне повезло, что я врезалась всего лишь в дерево, а не в машину на дороге. Я ударилась об него локтем и сильно содрала кожу. Повернув руку, я увидела рану, и что из нее на землю капает кровь. За этим последовала боль.

Эсти и Довид догнали меня на моем пути в ванную. Эсти спрашивала:

- Болит? Я могу что-нибудь сделать?

Довид повторял:

- Надо позвонить твоему папе, Ронит. Может быть, это серьезно.

Я заперла дверь и выставила их наружу. Я помню, как кровь лилась в ванну пунцовыми каплями и превратилась в розовый вихрь, когда я включила воду. Помню, я плакала, совсем немного. Удивлялась, что я плачу. Смотрела на себя в зеркало над ванной, видела свое плачущее лицо и не узнавала собственное отражение.

Мне не наложили швов. Я промыла рану, наклеила пластыри и скрыла их под рукавом. К тому времени, как я вышла из ванной, Эсти уже не было. На следующий день уехал Довид. Рана заживала неровно, так и оставив в моем локте кусок древесной коры.

В первый день школы я ничего не сделала. Как и во второй и третий. Я не знала, почему. Не то чтобы Эсти знала, о чем я думала. Может, зная, что Бог следит за мной, я решила сбить его со следа и оставить несколько дней между причиной и следствием.

Поэтому я отложила это на четвертый день после отъезда Довида. Я подождала, пока мы, сонные от жары, будем сидеть после школы в нашем секретном месте с голыми ногами и шеями.

- Эсти, - сказала я. – У меня есть новая игра.

Она моргнула.

- Ты должна лежать неподвижно, а я должна заставить тебя смеяться, ладно?

Она перелегла на бок, а я легла рядом с ней, не дотрагиваясь до нее, но чувствуя на своей коже теплоту ее тела. Я мягко погладила изгиб ее шеи от уха до плеча – щекотливое место. Она не двигалась и ничего не говорила. Я пробежалась пальцами вдоль ее руки, аккуратно касаясь тонких волосков. Она оставалась абсолютно неподвижной. Я подвинулась ближе, соприкоснувшись животом с ее спиной. Моя рука проскользнула под ее рубашку, а палец легко касался ее живота, и она по-прежнему не двигалась. Я начала думать, не вскочит ли она на ноги и обвинит меня в ужасных вещах. Я немного отодвинулась, чтобы посмотреть на ее лицо. Глаза были закрыты, а губы изогнуты в улыбке. Ее дыхание было медленным и неглубоким, а на щеках был румянец. Она открыла глаза, голубые, словно небо. И ее кожа, на животе и на бедрах, была такой мягкой, как кожа ребенка. Приятной, как вино. И ее губы раскрылись и издали вздох. И она повернулась и прильнула ими к моим.

Говорят, дерево несчастья вырастает из семени горечи и производит плоды отчаяния. Что бы было, не тронь я ее никогда? Может быть, она бы ушла к Довиду свободной как птица, не зная ничего другого. Если бы меня не существовало, нашла бы она покой? Если бы меня не существовало, как бы она вообще встретила Довида? Никто не может ответить на эти вопросы, ни я, ни она.

Мы, правда, не знали что делать, в тот первый раз. Наши руки неумело бродили, а щеки краснели. Но там, за гортензиевым кустом, мы научились. Мы переходили от одного к другому по мере желания и понимания. С того момента, как ее губы коснулись моих, мы знали, что преступили границы, и дороги назад не было. Все уже было сделано. Я помню ощущение ее прохладных пальцев на своей груди, щекочущих кожу, как шепот ветра. Я помню потрясение и жар. Я помню трепет наслаждения. Я помню только фрагменты.

В четверг мне приснился сон, который мне уже давно не снился, но который был знаком мне как мои пять пальцев. Мне снилось, что я готовилась к Шаббату, но опаздывала, очень опаздывала. У всех у нас есть такие сны – надо предложить д-ру Файнголд написать об этом книгу: «Тревожные сны ортодоксальных евреев, больше не практикующих евреев и еретиков».

Я была в незнакомом месте и пыталась добраться домой, но не знала как, а солнце уже заходило. Я мчалась по незнакомым, грязным улицам в поисках метро или такси. Но все такси были заполнены, а станции метро поблизости не было. Мне пришлось смотреть, как солнце окунается все глубже, пока оно не спряталось за горизонт. В конце концов, что терять? Я заметила рядом свой офис и решила зайти. Но, пройдя через дверь, я поняла, что это совсем не мой офис. Это был дом Эсти и Довида, и они, взгромоздившись на кухонный стол, целовались, как школьники.

В среду я пошла встретиться с Хартогом. Я показала ему свой билет, и он улыбнулся – улыбалось все его лицо, кроме глаз – и сказал, что я приняла мудрое решение. Мы направились к дому отца, и Хартог с надменным видом наблюдал, как я собирала нужные мне предметы: фотографии, бокал для кидуша, пасхальную тарелку. Под раковиной в кухне я нашла пакет и сложила все туда, укрывая от его взгляда. При выходе из дома я собралась

взять пакет с собой, но он потряс головой, будто говоря с маленьким ребенком, и сказал:

- Нет-нет, Ронит. Я сопровожу тебя в аэропорт. Я прослежу, чтобы ты зарегистрировала багаж. Я прослежу, чтобы ты прошла через паспортный контроль. И только потом я отдам тебе пакет. Не раньше.

Он снова потряс головой, чуть посмеиваясь.

Желание ударить его лицо в тот момент било ключом. Я уже видела это. Его искривленный нос, кровь, стекающая по подбородку прямо на его желтый шелковый галстук. Я видела эту картинку четко и ясно, когда он закрыл дверь и потряс своими звенящими ключами прямо перед моим лицом.

Довид и Эсти на кухне вместе мыли посуду, болтая, смеясь и в шутку стряхивая друг на друга пену. Я сидела в гостиной и пыталась читать газету. И подумала: я заберу что-то с собой. Я не уеду ни с чем.

Итак, на следующее утро, в четверг, я сделала что-то плохое. Довид ушел рано на собрание совета синагоги. Я помню эти собрания: папа на них ходил. Четыре часа медленного обсуждения стариками одной и той же идеи. У меня было время. У Эсти была школа днем, но не утром. Мы с ней были в доме одни, но в ней не было страха. После возвращения Довида она была более расслабленной. Оно и к лучшему – так будет проще.

Я направилась в магазин. Я понимала свои намерения. Четко знала, что ищу. Я не допускала промахов. Я почувствовала, как чувство вины прильнуло к моему лицу, словно жар, когда я попросила нужный мне предмет, и голос в моей голове сказал: «Она не для тебя».

И я сказала: «Кажется, я уже сказала тебе заткнуться. Я думала, что убила тебя шоколадным пирогом и сэндвичами с креветками».

И голос сказал: «Нет».

И я сказала: «Ладно, говори что хочешь. Я не слушаю».

«Ты поступаешь неправильно», - произнес никто и ничто.

«Ой, что ты вообще знаешь? Она лесбиянка, это любому дураку видно. Она любит женщин. Если тебя так это беспокоит, почему ты не сделал ее натуралкой?»

«Мир не так просто разделить на категории, как ты думаешь, дорогая Ронит. И ты пытаешься украсть то, чего даже не желаешь».

«Ой, что ты знаешь о желании? Это наше занятие, не твое. И что значит “украсть”? Я первой ее нашла».

«Детские игры, дорогая моя. Ты стоишь большего».

И я сказала: «Я опущусь так низко, как сама захочу, потому что я больше не должна тебя слушать. Я научилась не повиноваться».

И голос говорил что-то еще, но я не слушала.

Я прокралась в дом и прислушалась. Глубокая, пронзительная тишина. Я почти слышала, как мельчайшие пылинки в коридоре мягко оседают на декорацию из засушенных цветов, стопку писем, обувь, стоящую в ряд у стены. Где она может быть? Шум из кухни, звук поставленного на стол стакана. Конечно. Я повернула ручку двери. Вот и она, у раковины, смотрит из окна на сад, волосы собраны в свободный пучок, мягкие завитки на шее. Я понаблюдала за ней пару секунд. Забавно, но я и забыла, какая она красивая. В ней была некая чувственность и изящность: в линии подбородка, в изгибе груди. В тот момент я

это почувствовала. Я хотела того, что решила.

Я подошла к ней. Поглощенная видом, она задумчиво крутила волосы вокруг пальца. Я ненадолго посмотрела на сад. День был сырым, сквозь деревья пробирался туман, к листьям прицепились капли дождя. Эсти стояла рядом со мной, была теплой и медленно дышала. Мне неожиданно захотелось обнять ее, обхватить ее талию рукой, подобрать складки ее платья и исследовать ее, как и раньше. Я медленно провела большим пальцем вдоль ее спины, от шеи до изгиба ягодиц. Она обернулась, не пораженная или испуганная, а с улыбкой. Я позволила своей руке остаться на ее талии, а в другой протянула ей свой подарок.

- Вот. Для тебя. Гортензии.

===== Глава десятая =====

Глава десятая

Есть чрезвычайно важная заповедь - всегда быть счастливым.

Хасидская поговорка

Как это возможно - всегда быть счастливым? Разве Царь Соломон не говорит нам, что есть время, отведенное для смеха, а есть - для плача? Разве будет уместно прийти в дом скорбящего и с сияющим лицом объявить: "Будь счастлив"? Мы не должны придерживаться такого поведения. В чем тогда заключается смысл заповеди всегда быть счастливым?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала понять природу человеческого счастья. Счастье - не то же самое, что и удобство; оно не обязательно скрывается в покое, роскоши и изобилии. Покой, роскошь и изобилие - не постыдные вещи, но это не счастье. В действительности, избыток комфорта может привести к слабости тела, угнетению духа и отчаянию души. Как и создавший нас Всевышний, мы стремимся к строительству. Наше счастье, по крайней мере, в этом мире, заключается в творении.

И когда мы творим, любая мимолетная боль не только незначительна, но также и радостна. Например, человек, по ошибке забредший в родильный зал, может подумать, что он очутился в камере пыток. Вся комната в крови. Женщина кричит в мучениях под присмотром дежурных. Эта сцена полна средневековой жестокости. И все же, спроси мы эту женщину в момент самой сильной боли, несчастна ли она, наши догадки не будут правдивыми. Она может быть взволнованной, уставшей, испытывать физическую боль, но несчастна ли она? Абсурд. Это счастливейший день в ее жизни, ведь нечто, созданное и построенное ей, вот-вот вырвется наружу.

Счастье - не ощущение легкости и комфорта. Счастье это более глубокое удовлетворение, которое мы получаем от творения: когда мы строим физический объект, создаем произведение искусства, воспитываем ребенка. Мы испытываем счастье, когда мы прикоснулись к миру и изменили его в соответствии с нашим желанием. Мы испытываем величайшее счастье, когда мы прикоснулись к миру и сделали его лучше в соответствии с Волей Всевышнего.

И пусть работа может приносить удовольствие, некоторый труд может быть выполнен только с усилием. Таким образом, иногда счастье пребывает там, где мы находим боль. А сильнейшие страдания часто предвещают величайший триумф.

Красный. Красный цвет проникал в его глаза, голову и уши, словно звук приближающегося поезда, от которого невозможно скрыться. Это был носитель разрушения, скрывающий свою настоящую природу. Когда он проснулся, не было почти ничего. Менее

опытный человек, чем Довид, не придавал бы этому значения. Он представлял, будто он - экскурсовод, водящий туристов по своей голове. "Видите это? - говорил он, показывая на вращающиеся красные круги, собравшиеся у горизонта. - С виду ничего особенного, правда? Но через час или два, запомните мои слова, тут будет бушевать шторм". Туристы вдохнули недоуменно и скептически, с опаской огляделись и спрятались под укрытие. Довид иногда думал: а что, если его головная боль была с ним всегда? Что, если она никогда полностью не уходила, а только становилась слабой, менее требовательной. Иногда, сжавшись от боли настолько, что он только и мог, что глядеть в одну точку, у него было тревожащее чувство, будто какая-то часть его разума наблюдала за его мучениями, записывая и комментируя: "Это интересно".

- Довид, чем ты занимаешься? - резко спросил Киришбаум, секретарь. Киришбаум и сам был резок, начиная кончиком носа и заканчивая хрустящими уголками воротника на рубашке. Довиду было больно на него смотреть, но он понял, что не может продолжать смотреть на резинку на своем карандаше. Он поднял голову, позволяя нескольким красным кругам перейти в его шею. Зал заседания совета был обложен деревянными панелями, а мебель в нем была кожаной. Он остановил взгляд на светлых деревянных панелях прямо над головой Киришбаума и попытался издать звук.

- Мм? - сказал он.

- Чем ты занимаешься на собрании, касающемся хеспедата?

Довид подумал, не пришло ли время опустить голову. Красные круги захватили его глаза. Они переговаривались между собой, и каждый раз, когда он пытался на них посмотреть, они разбежались, оставаясь вне зоны досягаемости для его зрения. Он знал, что, несомненно, это очень плохой знак. Он объяснил это туристам, которых он вообразил в своем мозгу, и с удовольствием отметил, что они съезжились от страха. Он подумал, не мог ли он сам съезжиться где-то прямо сейчас. Дом. Кровать. Сон. Да. Нет. Он не может вернуться домой. Необходимо быть здесь, слушать все, о чем говорят, вникать в это. Это необходимо, потому что происходит что-то важно. Что-то, чего он не хотел, что-то, не подлежащее его контролю.

- Хватит, хватит, Киришбаум, - сказал Хартог. - Довид не должен ничего делать. Просто приходи, как любой другой гость, Довид. Так будет лучше всего.

Хартог казался взволнованным. Красные круги, толкая друг друга, начали выбрасываться на стол через ухо Довида. Он думал о том, почему другие члены совета не видят их, а потом понял: конечно же, они исчезли, как только покинули его тело.

Все началось намного лучше.

Утро было чистым, острым и пронизательным. Такое часто случалось в дни, когда красная головная боль преследовала его. Небольшой гул в его глазах заверял его в том, что все хорошо. Довид слишком хорошо знал, что происходит, чтобы верить ему.

Находясь в кровати, перед тем, как встать, он сделал вычисления. Его жена лежала, свернувшись, рядом с ним, и две кровати были сдвинуты в одну, хотя он был уверен, что время, позволявшее это, уже прошло. Ее ночная рубашка задралась, обвивая ее бедра. Он окунул лицо в ее волосы, вдыхая ее сладкий аромат. Она шевельнулась, вздохнула и вернулась ко сну. Он обвил рукой ее талию. Ничего, кроме этого, не было возможным, но это уже было хоть что-то.

Кровати были сдвинуты вместе, укрытые одной простыней и составленные в одну,

после его возвращения из Манчестера. Он стоял, наблюдая их, несколько минут, размышляя, стоит ли ему прокомментировать или лучше ничего не говорить. Он не мог припомнить, когда они в последний раз спали в одной кровати; может, в первый год брака? Да, скорее всего, тогда. Он решил ничего не говорить. Она тоже ничего не сказала. Довид пришел к выводу, что это к лучшему. Слова бы лишь усложнили этот простой вопрос.

Тем не менее, последующие несколько дней принесли ему радость, которую он принял с опаской. Ему нравилось позволять себе погладить ее по спине или плечу, находясь с ней в одной кровати. Утром того дня, который позже принес ему красную головную боль, она свернулась калачиком рядом с ним, повернувшись лицом к нему, и ее волосы дотрагивались до его руки. Она была так близко, что он мог чувствовать теплоту ее тела и ее дыхание. Оно пахло теплым хлебом. Прошло так много времени.

Довид помнил один случай со дня их свадьбы. Он почти не помнил сам день, только моменты: ужасное пошатывание, когда его поднимали на стуле во время танцев; то, как дрожала его рука, когда он надевал кольцо ей на палец; толпу улыбающихся лиц. Он помнил ее, такую спокойную, рядом с ним. И он помнил те полчаса, что они провели вдвоем, посреди всей этой неразберихи. Таков закон. После свадебной церемонии невеста и жених должны провести какое-то время наедине, и свидетели должны наблюдать, как они заходят в комнату и выходят из нее.

В синагоге рава для этой цели предназначили комнату без окон, служащую хранилищем священных молитвенных книг. Они находились в картонных коробках вдоль стен. В середине комнаты освободили небольшое место и поставили складывающийся стол и два стула. Кто-то догадался оставить пару бутербродов, пластиковые стаканчики и фруктовый сок. Довид помнил, как Эсти переступила через порог комнаты первой, а когда он пошел за ней, один из наблюдающих - дядя Эсти, мужчина лет пятидесяти с небольшими усами - подмигнул ему и улыбнулся. Как будто их связывало какое-то знание, но на самом деле, заметил Довид, их связывала полная противоположность этому. Предназначение комнаты уединения, комнаты ихуда - приватность. Это момент, когда впервые появляется то пространство, созданное мужем и женой, которое навечно существует между ними, и которое принадлежит только им. Его объединяло с дядей Эсти то, что объединяло всех женатых мужчин - знание о том, что существует секретное пространство, что у каждого есть комната, содержимое которой навечно остается скрытым.

Казалось, что платье Эсти заполняло собой три четверти комнаты. Оно едва помещалось между ножкой стола и коробками. Внутри своего платья она казалась такой маленькой и незаметной, словно она всего лишь его украшение. Довид почти пожалел, что она его не сняла. Он испытал внезапное острое ощущение - что-то между радостью и болью, - когда понял, что позже она все же его снимет. Что даже это больше не будет запрещено. Она села. Он сел. Она посмотрела на него.

Довид три месяца изучал законы, касающиеся брака, относящиеся как к контракту между мужем и женой, так и к интимным отношениям. Но в момент, когда он стоял напротив этой стройной женщины с голубыми венами на запястьях, в которых пульсирует жизнь, его знания как будто не существовали. Довид никогда до этого не держал женщину за руку. Он думал о том, как к этому приступить. Это казалось таким очевидным, когда он принял решение насчет брака, таким простым, когда она согласилась. Но что нужно делать теперь?

Эсти метнула взгляд в сторону его руки, лежащей на столе. Ее собственные бледные

ладони были на коленях. Легчайшими прикосновениями она пробежалась по тыльной стороне его руки. Это был первый раз, когда они дотронулись друг до друга. Он не подозревал, какими мягкими окажутся подушечки ее пальцев. Он не мог найти подходящих слов, чтобы описать это.

Она взяла его руку в свою и нежно положила ее на свое лицо. Он чувствовал маленькие волоски на ее щеке и как отпечатки ее пальцев обжигали его руку. Они сидели так какое-то время.

Довид понял, что ничего не знает о том, что думает Эсти. Он не мог надеяться на то, чтобы узнать, не то чтобы понять, какие мысли двигали ей, когда она сидела, прижав его ладонь к своей щеке. Он был один в комнате. Они оба были одни и вместе. Он понял, как будто это знание ожидало его в этой камерке без окон. Вот к чему это приравнивалось. Быть одним вместе.

Эта мысль вернулась к нему, когда он лежал, наблюдая, как она спит рядом с ним. Одни. Вместе.

В совете прихожан синагоги участвовало шесть человек. С Равом было бы семь. Божественное число, как часто говорил Рав, число дней создания. Удобное число, как говорил Хартог, ведь не бывает безвыходных положений касательно голосования. В любом случае, хорошее число. Но теперь их было шестеро, и решения по-прежнему нужно было принимать.

Они с легкостью прошли по первым нескольким вопросам: о том, чтобы переделать кирпичную кладку в синагоге до зимы и на пятьдесят фунтов увеличить членский взнос. Дебаты насчет хеспедя начинались степенно: быстрое обсуждение расположения столов в вестибюле и того, какого поставщика провизии выбрать.

Цвет головной боли постепенно становился все более глубоким. Когда боль по каплям собиралась внутри его головы и глазниц, Довид начал понимать, что слова членов совета начали терять смысл. Будто слушаешь разговор, засыпая. Некоторые предложения были абсолютно понятными, и в ту же секунду он понимал, что слова испарились, и он упустил какую-то важную мысль. Дискуссия постепенно стала бессвязной. Они обсуждали, как будут встречены особенно уважаемые гости. Или... Нет, кажется, они решали, где будут сидеть жены... Или нет? Порядок, в котором гости будут произносить речи, как долго каждый из них должен говорить. Вот оно. Он что-то услышал. Произнесли его имя. Он приложил усилия, чтобы сконцентрироваться, отодвинул красную волну, разделив ее, освободив место.

- Да? - сказал он.

- Довид, в какой момент служения ты бы хотел произнести речь? - спросил Риглер. С карандашом в руке он осмотрел список на одном из листов бумаги. - Мы думаем, наверное, лучше всего в конце. Грандиозный финал! - Он улыбнулся с излишним энтузиазмом.

Довид моргнул.

- Ну же, - сказал Хартог, - не будем пугать Довида. Нет необходимости делать это грандиозным финалом. Просто подходящим завершением служения.

Мужчины вокруг стола закивали.

- Но я не хочу, - произнес Довид, - я не хочу говорить. Это не, я имею в виду, я не... Я не хочу. Может, кто-то другой произнесет речь?

- Нет, нет, - сказал Кишбаум, - мы абсолютно уверены, что это должен быть ты. Мы обсуждали этот вопрос довольно долго. Будет правильнее всего, если ты дашь речь. И более

того, - он сделал паузу, посмотрев на Хартога, и тот кивнул, - более того, если ты перенимешь пару обязанностей Рава. Например, давать уроки в Шаббат. Естественно, после завершения хеспед. Мы не хотим торопиться.

Красный цвет пульсировал в уголках глаз Довида, словно барабанный бой или военный марш. Боль стала особенно сильной. Она неуклонно увеличивалась, удар за ударом. Он изо всех сил пытался превозмочь боль. Он собрал ее в одну точку и удерживал ее там, пульсирующую и требующую. Отказом он делал все только хуже. Отказаться не было возможности. Концентрируйся, концентрируйся.

- Вы имеете в виду, - начал Довид, понимая, что его речь невнятна, - вы имеете в виду, до тех пор, пока не будет назначен новый Рав?

Мужчины, сидящие за столом, откинулись на своих стульях и улыбнулись.

- Наверное, - сказал Хартог.

И Довид понял. Он в один момент осознал все намерения Хартога и других членов совета. Но красный цвет мешал полному пониманию. Он набирал силу. Он прокрадывался снова, проникая в его череп, захватывая его.

- Нет, - сказал он. - Нет, я не могу, не могу. - Он посмотрел на мужчин. Их окружал красный рой.

Хартог откинулся на стуле назад и широко развел руки.

- Пора покончить с этой скромностью, Довид.

Весь стол поспешно повернул головы в сторону Хартога. Боль красного цвета неустанно пульсировала в голове Довида. Хартог снова улыбнулся:

- Ты нам нужен, - сказал он. - Ты нужен общине. Ты был правой рукой Рава. Ты, естественно, не будешь им. Но община нуждается в порядке, непрерывности. Ты обеспечишь нас этим. В конце концов, мы обеспечили тебя образованием для этой цели, Довид.

Боль достигла своего зенита. Она была сильной, властной волной, едва сдерживаемой его волей. Скоро, очень скоро, она прорвется через все укрепления и захлестнет его, словно поток обжигающе горячей воды, побеждая его.

Он видел это, как будто это уже произошло. Он видел, как все должно было быть - просто, постепенно. Дюйм за дюймом, он получит место Рава. Он уже неосознанно допустил это. Он будет давать речь, глядя в книгу Рава и его же заметки. Он будет говорить про Рава. Он создаст иллюзию неизменной непрерывности. Как сказал Хартог, его готовили для этой роли. Он мог это вынести. Но Эсти...

- Но моя жена... - только и смог сказать он.

- Да, - ответил Хартог, - мы подумали об этом. Мы знаем, что тебя удерживает. Это непростая ситуация. Твоя жена, вероятно, не совсем подходит на эту роль. Это место не правильно для нее. Но мы будем рады, - Хартог просиял, демонстрируя счастье, - позволить ей проводить большую часть времени в другом месте. У нее есть родственники в Израиле, так ведь? Возможно, будет лучше, если она будет проводить больше времени там, вдали от требований синагоги.

Ало-красная боль крутилась вместе с одной и той же мыслью в голове Довида. Он думал: "Я потеряю ее. Если вы заставите меня это сделать, я потеряю ее. Она не вернется, заставите вы ее уехать или нет". Он думал: "Может, я уже ее потерял". Он думал: "Наверное, это к лучшему".

- Конечно, нет необходимости решать это сейчас. У нас есть время. Все, что требуется сегодня, - это организовать хеспед. По крайней мере, это просто. Ты произнесешь речь,

Довид.

Взволновавшись, Довид почувствовал, как что-то в его голове натянулось, а после щелкнуло. Красная боль вырывалась наружу, оказавшись в уголках его глаз. Не сейчас, не сейчас. О, да, сказал красный цвет. Сейчас.

- Ты будешь говорить, - сказал Хартог. Это был не вопрос.

Красный превозмог Довида. Он больше не мог сопротивляться.

- Да, - прошептал он.

Красный цвет вздымался и колотил. Он начал высачиваться наружу и был более сильным и властным, чем когда-либо. Довид осознал, что дышит тяжелее и быстрее. Боль кипела и бурлила в его черепе, готовая выплеснуться наружу через его уши, нос, рот, глаза. Она не сделает ничего больше, говорил он сам себе. Это просто боль. Всего лишь боль. Словно водолаз, ныряющий под воду, он сделал вдох и позволил боли захватить его.

Машина Хартога пахла кожей и краской, и этот запах пробрался внутрь тела Довида и вызвал новые вспышки цвета. Хартог попытался поговорить с ним, когда они добрались до дома, но Довид не мог остаться. Ему нужно было внутрь. Кровать. Прохлада. Тишина. Обо всем, что произошло, можно подумать и позже, после того, как сон устранил боль из его тела. Он приложил усилия, чтобы направить ключ точно в замочную скважину, и открыл дверь. Дом был тих. Уединение. Прекрасно. Лучше шума, лучше неразберихи и замешательства. Ноги должны подняться наверх. Одна ступенька за другой. С каждым шагом к голове приливало все больше боли, кипящей и пульсирующей, но ступенек было всего тринадцать - он считал их раньше. И после все закончится, после только отдых в тихом, прохладном месте. Почти дойдя до верха ступенек, он приостановился, запыхавшись. Неожиданно все предметы вокруг него будто залились ярким светом: книжный шкаф, корзина для белья, неуместно лежащие на ней голубые и розовые цветы. Как странно, подумала часть его разума. Цветы.

Тем не менее, дом был тих, а его кровать - совсем рядом, обещающая тишину, спокойствие и пустоту. Обо всем этом он подумает позже. Он закрыл глаза, положив руку на небольшой столик возле ступенек. Ему не нужно было открывать их - он много раз поднимался по этой лестнице с закрытыми глазами. До двери спальни оставалось четыре ступеньки, до кровати - пять шагов, и больше не нужно было ничего. Он сделал шаг. Красная боль танцевала на его веках. Еще один шаг, тише, тише, чтобы не потревожить ее. Но дом больше не был тих. Казалось, он шелестел и смеялся. Был ли это сам дом? Спальня? Краснота внутри него? Сложно сказать. Еще один шаг. Он был почти уверен, что вздох и легкий звук движения не померещились ему из-за боли, но убедиться в этом означало открыть глаза. Он сделал последний шаг и открыл дверь.

Сначала была яркость. Комната казалась излишне залитой светом, будто солнце находилось прямо возле окна. Ему захотелось открыть глаза. Еще больше ему хотелось их закрыть, дважды или трижды, потому что одного раза было недостаточно, чтобы скрыться от этого света. Он мог слышать свет в своих ушах, и звучал он словно резкая, неприятная музыка. Красивая и ужасная одновременно.

Он открыл глаза. Плохой ход, сказал красный цвет, тупой, идиотский. Да, сказал Довид, я знаю, но я хотел увидеть. Мгновение растянулось на вечность. Боль, поднявшись наверх, прорвалась наружу и вылилась на его голову и тело, сжигая его заживо. Ничего страшного. Он увидел то, что ему было нужно.

В его кровати не было идеальной пустоты и белизны. Там была его жена со своей любовницей. Эсти обернула вокруг себя простыню, случайно оголив один нежный розовый сосок, и ее волосы лежали на ее плечах. Лицо Ронит выражало страх, и Довид хотел сказать: "Ничего, ничего", но мог вытянуть из себя лишь два или три слова, и хотел оставить их на более экстренный случай.

Он подумал, и эта мысль его позабавила: "Я уже ее потерял". Но все, что может произойти - всего лишь боль.

- Довид... - начала она.

- Да, - сказал он. - Я знаю.

Пламя боли быстро распространилось по его лицу, шее, груди, рукам, спине. Когда огонь добрался до его бедер и ног, он упал на колени и больше не знал ничего.

Жена Скотта, Шерил, - доктор. Должна сказать, я нечасто о ней думаю, но узнала

достаточно много из его рассказов. Забавно, но до Скотта я всегда представляла жен тех мужчин, которые заводят романы на стороне, по-другому. Они казались мне маленькими серыми мышками, сидящие дома с детьми, с которыми мужчина остается ради тех самых детей или потому что не может причинить боль чему-то настолько беззащитному. Но нет, жена Скотта - эпидемиолог. Пока он в офисе, она исследует схемы вакцинации или пишет работу про то, почему важно, я не знаю, закрывать рот, когда кашляешь. Они - пара, что надо. Они так и выглядят на фотографии, которая стоит в рамке на его столе. Он в повседневной рубашке, показывающей немного волос на груди; на ней была кремовая блузка и ожерелье с небольшими голубыми цветами; их светловолосые дети, мальчик и девочка, стоят перед ними, аккуратные и улыбающиеся. Он иногда бывает таким неприличным, пошлым, вульгарным и смешным, когда мы вдвоем, но тут он просто воплощение американской мечты.

Однажды он мне сказал: “Брак - это загадка, Ронни. Пока ты в нем состоишь, ты едва его понимаешь, а со стороны его не поймет никто в мире”.

Он был довольно пьян. Я спросила:

- А что насчет нас? Разве мы не загадка?

- Конечно, конечно. Но ты, ты делаешь меня счастливым. Понимаешь? Нам весело вместе. А она моя жена. Это что-то священное. Понимаешь, про что я?

Я немного понимала, про что он. Конечно, я и сама была довольно пьяна.

Скотт всегда говорил, что если Шерил узнает про нас, все будет кончено. На самом деле все закончилось даже раньше. Она задала пару неловких вопросов, не удовлетворилась его ответами. Она начала требовать, чтобы он говорил, где был, с кем. Вот и все.

Я помню, он так извинялся. Вот что меня раздражало. Он держал меня за руку и все извинялся и извинялся, как будто он убил мою кошку или что-то такое. Чем больше он извинялся, тем больше я злилась. Я просто хотела, чтобы он замолчал. Он никогда ничего мне не обещал, я никогда ничего ему не обещала. Извиняться не надо было.

Тем вечером я сделала что-то, чего никогда не делала раньше. Было где-то семь вечера. Я знала, что он все еще в офисе, а Шерил дома с детьми. Я позвонила ему домой. Она подняла трубку спустя несколько гудков. Она сказала: “Алло?”, и я помолчала пару секунд. В этих нескольких секундах был некий потенциал. Как будто ты превышаешь скорость на автомагистрали, едешь легко и плавно, и вдруг тебе приходит в голову, что, поверни ты запястье на пару дюймов вправо - и ты умрешь. Как-то так. Я слушала тишину, словно наблюдая, как спидометр показывает все большие цифры: девяносто три, девяносто четыре, девяносто пять, а потом я положила трубку.

Я хотела, чтобы Эсти позвонила в скорую. Как только Довид упал, я потянулась к телефону. Она вытащила его из моих рук, прижимая его к груди и скрывая от меня руками. Она говорила мягко.

- Нет, нет. Это случилось раньше. Иногда, когда все очень плохо... - Она выдохнула, а потом посмотрела снова на меня. - Это случилось раньше. Надо просто подождать. Это пройдет. Он бы не хотел, чтобы мы подняли суматоху.

Я посмотрела вниз, на Довида, неловко рухнувшего на пол спальни; одна его нога была болезненно подогнута под ним. Его лицо было сине-белым. Губы - серыми. С кровати даже не было видно, дышит ли он. Я вопросительно посмотрела обратно на Эсти, сжимающую телефон.

- О чем ты говоришь?

- Это случилось раньше. Это что-то личное. Доктора не нужны.

Ее глаза были большими, а взлохмаченные волосы лежали на плечах. Кожа на ее животе сложилась в складки. Мои глаза открылись, и я поняла, что мы абсолютно голые. Я сказала:

- Надо одеться, что ли. Я помогу тебе затащить его на кровать.

Мы оделись в тишине, не глядя друг на друга. Я не могла найти свои колготки, но мне было лень лезть за ними под кровать. Мы поместили Довида на кровать, и там он выглядел более мирно. Он все-таки дышал и выглядел чуть менее сыролицым.

Думаю, оно и к лучшему, что мы не поехали в больницу. Как бы я объяснила свое присутствие?

- Вы его сестра?

- Нет, я любовница его жены. Думаете, если я буду с ней достаточно долго, я смогу его прикончить?

Эсти сказала:

- Он будет в таком состоянии несколько часов. Может, проснется вечером, может, завтра утром.

Она посмотрела на меня. Я посмотрела на нее. Она посмотрела на свои часы.

- Мне пора в школу. Меня ждут.

И ушла.

Я сидела в гостиной. Хотела пойти в дом отца, попробовать напасть еще раз, забрать мамины подсвечники и уйти. Но не могла. Часы на камине тикали. Мне хотелось прийти в офис д-ра Файнголд, где мне спокойно и безопасно, и рассказать ей обо всем, что произошло за последние пару недель. Я осмотрела комнату. В ней не на что было смотреть, кроме свадебной фотографии Эсти и Довида. Я подумала про Скотта и Шерил и про то, что вечно у меня все выходит именно так. Мне хотелось отменить все, что я когда-либо делала в своей жизни, и начать с самого начала. Мне хотелось родиться снова и посмотреть, выйдет ли в следующий раз лучше. Этого я тоже сделать не могла. Я заволновалась. Скоро обратно в Нью-Йорк. Может, поменять билет? Полететь сегодня? Завтра утром? Эта мысль казалась просто чудесной. Даже то, что Хартога это обрадует, не слишком меня беспокоило. Прекрасно. Завтра к этому времени я бы уже вернулась в свою квартиру и свою жизнь. Все, что мне надо было сделать, - это сообщить Эсти.

Я натянула кроссовки и зашагала в сторону дневной школы имени Сары Рифки Хартог.

Школа была не совсем такой, какой я ее помнила. Вместо двух больших домов, которые она занимала, теперь их было три, и они были соединены сложной цепочкой лестниц. Вход был немного не там, где раньше. Они достроили что-то сзади. Но все же она не очень изменилась. Я сказала на входе, что пришла увидеть Эсти Куперман, и меня впустили. Да, охрана здесь, как всегда, отличная.

Я осмотрела коридор. Какая-то странная архитектура: две входные двери прямо друг возле друга, разделенные только маленьким куском стены, две лестницы, идущие из одного места в противоположных направлениях. На стенах - работы по истории Израиля, математический проект, какие-то рисунки, выполненные на цветной бумаге с закручивающимися углами. Пахла школа точно так же - мелом, потом, цементом и старыми кроссовками. Я не могла просто взять и зайти к Эсти в ее класс. Бог знает, что подумают эти школьницы, увидев меня. Но, наверное, Эсти зайдет в учительскую между уроками.

Интересно, учительская находится все там же, где и раньше?

Прежде чем постучаться, я помедлила. Я подняла руку и зависла, увидев надпись: “Не стучать во время перерыва, за исключением последних десяти минут”. Она меня напугала. Я посмотрела на нее пару секунд, а потом постучала.

Дверь открыла довольно симпатичная рыжая девушка. В этой школе всегда были такие молодые учительницы? Она с подозрением взглянула на мою определенно неподобающую юбку и голые ноги, но ее лицо прояснилось, когда я упомянула имя Эсти. Конечно, я могу зайти и подождать. Она с улыбкой придержала для меня дверь. Учительская была пуста; в ней было всего пару потрепанных кресел, пару шкафчиков и три стола. Я села и закинула ноги на маленький столик в центре комнаты.

Учительница предложила мне кофе, и я с радостью согласилась. Пока она возилась с чашками, чайником и ложками, она представилась:

- Я Тали, кстати, Тали Шницлер. Я преподаю географию. А Вы?

- Я Ронит, - сказала я. - Ронит Крушка. Я, э-э, двоюродная сестра мужа Эсти.

Звука разбитых чашек или внезапного вздоха не последовало, но ее процедуры определенно приостановились. Эта Шницлер развернулась и посмотрела на меня.

- Ронит Крушка? Вы дочь Рава?

Я кивнула. Она пожелала мне долгой жизни. Я поблагодарила ее. Она какое-то время смотрела на меня, а потом вернулась к своим чашкам.

Вручая мне мой кофе, она попыталась улыбнуться.

- Эсти скоро будет, я уверена... Мне, э-э, надо идти.

Шницлер собрала свои книжки и поспешно удалилась. Мне не пришлось долго думать о том, чего она боялась. Это уже было очевидно. Больше нечего таить, даже от самой себя.

Сейчас я думаю о том, знали ли о нас девочки в школе. С одной стороны, я не понимаю, как это можно было упустить. А с другой - не могу представить, что они заподозрили и ничего не сделали. Но в те школьные, гортензиевые годы мы проводили вместе все перемены, все время делали вместе уроки после школы, были друг у друга на Шаббат и по воскресеньям. Многие школьницы так дружили.

Было здорово, не отрицаю. На тот момент это было здорово. Какое-то время у нас был план, у нас троих. Мы с Эсти поедem в семинар в Манчестер, Довид тоже вскоре вернется туда из йешивы в Израиле. Тогда наша троица будет вместе. А потом? Кажется, мы так и не решили. Казалось, достаточно было быть вместе в одном городе вдальи он дома. Думаю, уже тогда я что-то замалчивала, что-то отрицала. Все же у меня под локтем до сих пор сидел кусочек коры дерева.

Помню, все девочки удивились, когда мы с Эсти не пошли в один и тот же семинар. Мой папа предложил мне то, от чего я не смогла отказаться. Он отправил меня в Стерн Колледж в Нью-Йорк - семинар и университет вместе. Сказал, что он более “современный” и больше для меня подойдет. Я не раздумывала об этом решении; мне слишком импонировала сама перспектива уехать.

После этого все случилось довольно просто. Я избегала других англичанок - которые все время толпились вместе, делясь друг с другом бутылками с горячей водой и чаем. Я общалась с американками, потом с крутыми американками с телевизорами в комнатах, потом с их еще более крутыми друзьями из Нью-Йоркского университета. А потом и вовсе ушла. Это было нелегко, но я все для этого сделала. Я устроилась на работу, используя свою

студенческую визу, копила каждый доллар. Я брала меньше предметов в семинаре и больше светских предметов, более полезных. У одной из девочек из Нью-Йоркского университета было свободное место в квартире.

Я помню это чувство, когда я делала взнос за эту крохотную комнату и переносила туда свои вещи. Это было отличное, окрыляющее чувство, будто я впервые вдохнула в свои легкие воздух.

“Только ты можешь спасти саму себя, - говорит д-р Файнголд, - но ты, по крайней мере, можешь это сделать”.

Мы с Эсти пошли на прогулку. Далеко уйти мы не могли. Эсти скоро нужно было возвращаться на уроки, так что мы просто сделали несколько кругов вокруг игровой площадки. Хоть было еще тепло, небо было железно-серое - таким цветом оно обычно затягивается на несколько дней и все время угрожает дождем. Наступала осень. Две большие черные птицы боролись за недоеденный бургер, который занесло ветром на площадку. Я сказала:

- Я пришла сказать тебе, что уезжаю. Это место не для меня. Я больше не могу здесь оставаться. Я поменяю свой билет. Уеду завтра или послезавтра.

Она вздохнула, прикусила нижнюю губу и принялась смотреть на птиц. Одна из них пыталась отлететь с половиной булки в клюве. Интересно, Эсти вообще меня слышала?

Она сделала глубокий вдох и сказала:

- Снова уезжаешь, Ронит? Почему, как ты думаешь, ты всегда в итоге уезжаешь или планируешь уезжать?

Я не удивилась. Эта беседа вообще не была примечательной. Мы просто смотрели на этих огромных птиц и разговаривали так, будто мы обсуждали, почему я люблю яблоки, но не люблю яблочный пирог. Она говорила небрежно, повседневным тоном. Я подумала, ну ладно. Хорошо. И сказала:

- А почему ты никогда не просишь меня остаться?

Улыбнувшись, она посмотрела на свои руки, а потом подняла взгляд снова. Она смотрела не на меня, а скорее на птиц.

- Думаю, потому, что не вынесу, если ты скажешь “нет”. Лучше не спрашивать вообще.

Еще какое-то время мы наблюдали за тем, как по площадке летали птицы и какие-то куски картонной упаковки. Она сложила руки на груди и сказала:

- Мне кажется, я еще раньше тебя знала, что ты уедешь. Когда тебя отправили в Америку, я думала, что ты не вернешься. И ты ведь не вернулась.

Надо было оставить все как есть и не спорить.

- Я возвращалась, Эсти. Несколько раз, когда в колледже были каникулы.

Она снова улыбнулась - мрачной полуулыбкой.

- Ты вернулась, чтобы сказать мне, что снова уезжаешь. Ты что, не помнишь? Ты сказала мне о своем плане.

Я не помнила.

- Ты сказала, что получила работу в банке. После твоего первого года в Стерн. Мы тогда сидели на твоей кровати. Мы глядели в потолок и держались за руки. И ты сказала: “Я нашла работу”.

- А что сказала ты?

- Я спросила, какую. И уже тогда, до того, как мы начали обсуждать детали, квартиры и

паспорта, я знала, что ты никогда не вернешься.

Наверное, это я помню, совсем чуть-чуть. Кажется, только ощущение ее руки в своей.

Какова правда? Как теперь достучаться до того человека, которым я была, и задать этот вопрос? Если бы были сказаны эти, эти и эти слова, осталась бы я? Иногда мне кажется, что она ничего для меня не значила, совсем ничего, что я отмахнулась от нее и никогда не смотрела в прошлое. Но наши чувства к кому-то сложнее, чем мы думаем. Иногда мне кажется, что если бы она попросила меня, хоть раз, остаться... Я бы осталась навсегда. Все эти раввины учат нас, что у каждого внутри целый мир. Может, есть две правды. И то, что она не была для меня важна, и то, что я бы осталась, попроси она меня. Но она никогда не просила. И мне пришлось уехать.

Я спросила:

- Эсти, почему ты вышла за него замуж?

И она ответила:

- Ты уехала.

- Я уехала, и что, ты запрыгнула на первого попавшегося парня?

Она нервно провела рукой по лбу.

- Это не... Я не... Ты знаешь, что мы с Довидом не...

Ее голос оборвался. Я подумала: сейчас, прямо сейчас. Вот он, как оказалось, тот момент, ради которого я приехала в Лондон. Я спросила:

- Эсти, тебе же нравятся девушки, правда?

Она кивнула.

- И тебе не нравятся мужчины, так ведь?

Она потрясла головой.

- И ты замужем за мужчиной, не так ли?

Она снова кивнула.

Я широко развела руками.

- Ну, Эсти, тебе не кажется, что в этой картинке что-то не так?

Она вздохнула. Я подождала. Ее кожа была белее обычного и сложилась в маленькие морщинки под глазами и возле уголков губ. Наконец она сказала:

- Помнишь историю про новолуние? Историю Давида и Йонатана?

Я кивнула.

- Помнишь, как Давид любил Йонатана? Он любил его “любовью, превосходящей любовь к женщинам”. Помнишь?

- Да, помню. Давид любил Йонатана. Йонатан умер в битве. Давид был несчастен. Конец.

- Нет, Ронит, не конец. Начало. Давиду пришлось продолжать жить. У него не было выбора. Помнишь, на ком он женился?

Мне пришлось задуматься. Много лет прошло с тех пор, как я в последний раз учила Тору. Я мысленно поперебирала предположения и наконец вспомнила ответ.

- Он женился на Михаль. Они были не особо счастливы вместе. Она оскорбляла его публично, так?

- А кем была Михаль?

До меня дошло. Я все поняла. Михаль была сестрой Йонатана. Мужчина, которого он любил всем сердцем, умер, и он женился на его сестре. Я еще немного подумала об этом. Я подумала о том, были ли Михаль и Йонатан похожи. Я подумала о Царе Давиде и его горе,

его нужде в ком-то, похожем на Йонатана, близком Йонатану. Я была очень тронута, но скоро поняла, что эта идея абсурдна.

Я сказала:

- Эсти, ты, наверное, шутишь. Ты вышла замуж за Довида, потому что ты возомнила себя Царем Давидом?

Вздыхнув, она запустила руку в волосы.

- Ронит, ну почему ты всегда... - Она запнулась и покачала головой. - Почему ты всегда шутишь о таких серьезных вещах?

Ой, подумала я, а почему небо голубое? Почему не бывает вечной любви?

- Но, Эсти, это же чушь собачья! Я же не умерла. И ты не Царь Давид. В твоём распоряжении целый мир. Иди и посмотри!

Эсти опять вздохнула.

- Довид всегда был рядом, Ронит. Он заботился обо мне, и я, в некотором смысле, заботилась о нём. Он казался таким, не знаю, спокойным. И я подумала, таким образом я хотя бы обрету спокойствие.

Подул пронзительный, холодный ветер. Он проникал под мою тонкую рубашку, кружил листья и мусор, лежавшие на площадке. Я сказала:

- И что, ты нашла его? Нашла спокойствие?

- Да, вроде нашла.

- А счастье?

- В каком-то смысле, да, Ронит. - Она посмотрела на меня. - Может, ты и не поймешь, но я нашла некоторого рода счастье.

- И тебе этого достаточно?

Она обвила меня руками, прислонив голову к моей груди. Я погладила ее по спине и поцеловала ее в лоб. По другую сторону площадки в школьном здании были видны сидящие в ряд школьницы и их учительницы. Некоторые смотрели на доску или книги, некоторые на нас - на то, как мы с Эсти вместе стояли на площадке. Я ничего не сказала. Я притянула Эсти ближе к себе и так и держала ее в своих объятьях.

===== Глава одиннадцатая =====

Комментарий к Глава одиннадцатая

Спасибо всем, кто исправляет мои глупые, незамеченные ошибки. Говоря на английском, я понемногу забываю русский, и часто даже не понимаю, что на русском так и так не говорят. Не говоря уже о помарках по невнимательности. Спасибо, что читаете и помогаете :)

Глава одиннадцатая

И Господь сказал: создам Я человека по своему образу и подобию.

Берешит 1:26

Когда Бог начинал создавать мир, Он сотворил три вида существ: ангелов, животных и людей.

Ангелы не обладают желаниями творить зло, они существуют, просто выполняя команды своего Создателя. Ангелы не могут бунтовать. Они не могут уклониться от Его приказов ни на мгновение; все, чем они являются, - это Его воля. Они не знают ничего другого.

Животных, аналогичным образом, ведут только их инстинкты. Совершает ли лев зло, поглощая дрожащую овцу? Ни в коем случае. Он также следует командам своего Создателя,

с которыми он знаком в форме своих собственных желаний.

Тора говорит нам, что Бог провел почти все шесть дней создания за творением этих существ и их жилищ. Но перед самым концом шестого дня Он взял небольшую горстку земли и сотворил из нее мужчину-и-женщину. Запоздалая мысль? Венец творения? Ответ на этот вопрос неясен. И солнце зашло, и день завершился, и творение было выполнено.

А что это за существо – мужчина-и-женщина? Это создание, имеющее право не повиноваться. Среди всех созданий Всевышнего человек – единственный, у кого есть свобода воли. Мы не просто слышим чистый голос Господа, как это делают ангелы. Нами не управляют слепые инстинкты, как животными. Мы единственные, кто может слушать приказы Всевышнего, понимать их и выбрать не повиноваться. Только из-за этого наше повиновение имеет ценность.

В этом великолепие человечества, и в этом же его трагедия. Бог замаскировал Себя от нас, чтобы мы могли видеть не весь Его свет, а только его часть. Мы находимся в промежуточном состоянии между ясностью ангелов и желаниями животных. Поэтому мы навечно остаемся в неопределенности. Жизнь предоставляет нам все больше и больше необходимостей выбора, и каждая в разы увеличивает наши сомнения. Несчастные создания! Наш триумф – наше же падение, возможность быть осужденными – одновременно и шанс для праведности. И в конце концов, выбор – все, что у нас есть.

В морозильнике был дождь. Мягкий дождь лил и превращался в лужи на полу. Он вырезал гладкие дорожки льда и растаявшей воды. На полу были сталактиты, сугробы, пустыри и спрятанные, холодные места за соснами. Время от времени раздавался громкий звук, и отваливался очередной кусок льда.

На кухонном полу дождевая вода собралась в небольшое ледяное озеро, крохотное зимнее творение. Эсти опустила пальцы в этот бассейн, взволнованная его холодом. Слышалось ритмичное «кап, кап». Она представляла тот момент, когда работа будет выполнена, когда морозильник вернется к работе. Из-за этого она становилась немного грустной. Но она едва начала: до завершения оттепели еще не один час.

Эсти проснулась на рассвете. Была пятница, дел было много. Пора начинать работать. Но она продолжала лежать рядом с Довидом, чей глубокий сон все еще продолжался со вчерашнего дня. Ей скрутило желудок. Мысль о работе, которую предстоит сделать, о еде, которую надо приготовить. Она чувствовала тошноту. Она подумала, не съела ли она что-то не то или не подхватила ли вирус от кого-то из своих учениц. Вдруг тошнота стала неотложной. Она побежала в ванную, вспомнив, что, конечно, этому есть причина. Она не ожидала, что это начнется так скоро. Все менялось; ничего не оставалось прежним. Кап, кап.

Она умылась и оделась. Она уже отставала от своего расписания. Хорошо, подумала она, и эта мысль была само спокойствие. Очень хорошо. Эта пятница будет другой. Кухня по приходу Эсти почувствовала, что что-то поменялось. «Где курица? – будто спрашивала она. – Где суп и халы? Где же, ну где же картофельный кугель?». Эсти мягко ответила кухне, что покажет новый способ.

Она отключила морозильник от розетки и улыбнулась, услышав, как его вибрация превратилось в тишину. Она открыла дверцу и начала доставать упаковки с едой. Она постелила рядом с морозильников полотенца. Она поняла, что поет песню, которую знала давно, с тех времен, когда была школьницей.

В семь утра начал звонить телефон. Эсти знала, было очень ограниченное количество причин, по которым ей могли звонить в семь утра. Миссис Маннгейм, директриса школы, возможно, хотела поговорить о чем-то, что видела вчера на школьной площадке. Эсти вышла в коридор и принялась смотреть на телефон, посылая по проводам свои неприветливые мысли. Он перестал звонить. Через пару минут снова начал. Она отнесла его на кухню и засунула в холодильник. Он продолжал звонить, холодный и заглушенный. Эсти была удовлетворена.

В восемь часов она поняла, что прилично проголодалась. Она приготовила стопку блинчиков с лимоном и сахаром. Она не могла вспомнить, когда в последний раз готовила такое только для себя. Она всегда так вкусно готовила? Не может такого быть, чтобы ее еда и раньше была вкусной. Телефон снова зазвенел из холодильника. Прислонив ухо к дверце, она очень четко слышала его. Она учтиво слушала до тех пор, пока он не прекратил звонить. Вскоре после этого она услышала наверху звук движения. Ронит? Нет, не настолько громкий, и она не слышала стука. Только аккуратные, методичные движения. Она поднялась наверх.

Довид сидел на своей стороне кровати. Он выглядел уставшим и печальным. Его волосы были взлохмачены, а кожа еще не избавилась от вчерашнего серого оттенка. Она дотронулась до его лба, убирая с него волосы. Она положила палец на его нахмуренную переносицу.

- Не болит здесь?

- Не больше, чем обычно. Только немного кружится голова. Эсти...

Довид сложил руки на груди, и она видела, как в его голове формируются слова, которые он собирается сказать. Она была возмущена. Они не были такими. Они не так жили все эти годы. У них никогда не было этого: вопросов, упреков, обвинений. Когда они были вместе, они были вместе. Когда они находились отдельно друг от друга, ничего не стоило предпринимать. Даже сейчас, зная о начинающейся внутри нее жизни, вопросов быть не должно.

Довид спросил:

- Мы можем пойти прогуляться?

Эсти долго смотрела на него: на его волосы, темные, редеющие на макушке, вечно румяные щеки, виднеющийся над брюками округленный живот. Из холодильника снова послышался телефонный звонок.

- Да. Пойдем, - ответила она.

В Хендоне много парков с деревьями и дикой травой. Когда-то давно на их месте были фермы и фермеры. Об этом все еще напоминают построенные из камня дома и древние дороги со странными именами. В центре города больше ничего не напоминает о том, что землю там когда-то пахали и сеяли. Но Хендон все еще помнит семена и почву.

Мы, люди, живущие в Хендоне, любим представлять себя где-то еще. Мы носим свою родину на спинах, распаковывая ее там, где найдем себя, - не слишком тщательно, ведь когда-нибудь придется запаковать ее обратно. Хендона не существует; он - там, где находимся мы. Тем не менее, в нем, в этих остатках земледелия есть некая красота. Любая красота трогает человеческое сердце, будь это даже что-то настолько крохотное, как муравей или паук. Наши предки наверняка нашли ее в землях Польши и России, Испании и Португалии, Египта и Сирии, Вавилона и Рима. Почему же мы должны сожалеть о том, что крошечные земли Хендона оказывают нам любезность? Это не наше место, мы не его

народ, но мы нашли здесь приют. И, как говорил Царь Давид, Бог везде – низко и высоко, близко и далеко. Бог - в Хендоне, как и во всех других местах.

Эсти и Довид сидели на остатках срубленного дерева и глядели вниз на склон холма, опускающийся в сторону Северной Кольцевой Дороги.

- Итак, - сказал Довид.

- Итак, - подхватила Эсти.

Минуту они сидели в тишине. Утро было теплым, солнце начинало сжигать росу своими лучами.

- Ну что, - сказал Довид, - делала вчера что-то интересное?

Эсти подняла взгляд на него. Он улыбался нервной полуулыбкой. Она уже видела ее, давным-давно. Она наморщила нос.

- Дай подумать. Нет, не могу ничего припо... А, подожди, я перемыла всю посуду.

Довид кивнул.

- А ты?

Довид мельком взглянул на дерево, свесившее над ними свои ветви, на небо за ним – неопределенного цвета, почти белого.

- Кроме собрания в синагоге? Ничего особенного. Скучноватый был день. Голова немного болела.

Эсти кивнула. Недолго думая, она положила голову на его плечо. Он обхватил рукой ее талию. Они смотрели вниз на детскую площадку, теннисные корты и спешащий поток машин на Северной Кольцевой. Он спросил:

- Ты когда-нибудь лежала на холме вот так, на спине? Когда была маленькой?

Она ответила:

- Наверное. Не помню.

Он сжал ее запястье.

- Пошли. Ляжем на спину и будем смотреть на облака.

Да, сказала она про себя, да.

- Кто-то может увидеть.

В ответ на это он улыбнулся.

- Они уже знают.

Так было лучше – бок о бок смотреть вместе на небо. Ей не приходилось смотреть на него и запоминать его лицо. Она не была запутана насчет того, за что чувствовала вину, а за что нет. Разноцветные облака, небо и птицы успокоили ее. Сверкающий самолет оставил белую полосу. Они решали, каких форм облака: чайная чашка, носорог, буква W, мужчина в лодке.

Она подумала: мы могли бы вечно так лежать. Ничего не нужно было говорить. Возможно, это и есть любовь.

Она набралась смелости. Она подумала: дело не в любви. Любовь – не ответ на все на свете. Но слова способны победить тишину. Она сказала:

- То, что ты видел вчера... Мы с Ронит, то, что ты видел...

Тут она остановилась. Любовь заставила ее замолчать. Любовь – нечто тайное, спрятанное. Ее питают темные места. Она сказала своему сердцу: я устала от тебя. Сердце ответило: если ты скажешь это, дороги назад не будет никогда. Она согласилась с этим.

Она продолжила:

- То, что ты видел. Это было не в первый раз. Это началось давно.

Облака молча двигались по небу, неся в себе фигуры, которые быстро превращались в другие. Ничто не остается неизменным, даже на секунду. Вот вся правда.

Она сказала:

- Все началось, когда мы были в школе. Еще до того, как я встретила тебя. И я... - Она снова остановилась. Где были луна и звезды, когда она нуждалась в них? Где было нежное спокойствие ночи? - Я всегда была такой. По-другому никак. Думаю, я никогда не изменюсь.

Где-то за небом невидимые звезды и луна продолжали вращаться. Ветер все так же подхватывал облака и нес их вокруг земного шара. Эсти подумалось, что мир большой, а Хендон очень маленький.

Довид приподнялся на локтях. Он смотрел на деревья и автомагистраль рядом с ними. Эсти было видно, что он улыбался.

- Ты правда все это время думала, что я не знаю?

Видишь, сказала сердце Эсти. Смотри, что ты натворила. Ничто больше не будет прежним. Каждый элемент твоей жизни должен быть переосмыслен. Пора остановиться. Не говори ничего. Не будь ничем.

Она спросила:

- С каких пор?

- Думаю, еще до того, как мы поженились, - ответил он. - В каком-то смысле. Не полностью.

- Тогда почему? - спросила она.

- Я просто... Я думал, ты будешь со мной в безопасности. Я был неправ. Прости.

Он лег обратно на землю и посмотрел на небо.

- Если ты хочешь уехать, я не стану тебя держать.

- Если я хочу уехать с Ронит?

- Да. Или нет. Если ты хочешь уехать. Отсюда.

- А ты хочешь, чтобы я ушла?

Довид подумал: это всего лишь боль. Боль - это все, чем это может быть. Оно не сделает мне ничего.

Он сказал:

- Я не хочу, чтобы ты оставалась против своей воли.

Она раздумывала о том, как это произойдет. Она уйдет, неся в себе младенца, словно подарок, который будет развернут где-то еще. Она будет жить неким другим, противоположным образом. Она будет свободна делать, что пожелает. Возможно, она станет полностью другим человеком: подружится с одноногим бывшим пожарником, откроет собственную пекарню, обрежет волосы и снимет юбку, научится рисовать и играть на фаготе, заведет любовницу, которую будет кормить спелой клубникой и с которой заберется на вершину дерева посреди ночи, чтобы посмотреть на луну. Она видела свою жизнь в тот момент, разложенную перед ней, будто ткань, которую оставалось только отрезать и придать любую желаемую форму. Она может выбрать что угодно еще. Она может написать свою собственную историю, потому что это точно такая же жизнь, которая существует.

Она сцепила свои пальцы с его и спросила:

- Довид, ты был счастлив? Я делала тебя хоть чуть-чуть счастливым?

Последовала долгая пауза. Она наблюдала за тем, как мимо проносятся облака – белые, желтые, розовые, серые. И наконец он ответил:

- Да.

Ее сердце сказало: тишина, тишина лучше всего. Ничего не говори. Рассуждай. Размышляй.

Она произнесла:

- Я беременна. Мы. У нас будет ребенок.

Они вместе возвращались через Хендон обратно к дому. Хендон был занят, как и в каждую пятницу. В лавке мясника, в пекарне, в магазине фруктов, в гастрономе люди заметили, как они шли.

Эсти подумала: пусть смотрят. Это их решение, а не мое. Эта мысль заставила ее улыбнуться. Эта мысль была новой. Не Довида и не Ронит. У нее, у этой мысли, не было ничего общего с подобающей женщине тишиной. Она бережно держала ее в голове. Новый образ мышления, не доминированный молчанием.

Дома их ждала Ронит, и она была сама неловкость. Не успели они зайти, не успели они снять пальто и обувь, она уже говорила, описывая свои планы, как ей нужно было уехать и поменять билет. Она уедет в воскресенье, им больше не придется терпеть ее присутствие, она не пойдет на хеспед, так что об этом, по крайней мере, им не придется волноваться. Может, она даже перенесет билет на субботу, правда, Хартогу вряд ли это понравится.

Эсти нашла в своих мыслях новое место, открывшееся только что в парке. Она видела, что Ронит боится, что она убегает. Ронит думала, что убегает от Бога, но на самом деле ее страшит тишина. Придется показать ей, что не стоит ее бояться.

Ронит спросила:

- Э-э... Эсти, а где телефон?

Я хотела уехать. Когда я проснулась тем утром, все, чего мне хотелось – это уехать как можно скорее. Мне было абсолютно ясно, что я пробыла здесь слишком долго, что будет намного лучше для всех, если я уеду. Я в спешке собралась, запаковав столько вещей, сколько смогла найти. Было десять утра, наверное, еще не поздно перенести полет на сегодня вечером, позвонить Хартогу, назначить с ним свидание и уехать. Но нет, черт возьми, сегодня пятница. Хартог не сможет сегодня водить машину. Что ж, может, он разрешит мне уехать без сопровождения.

Только случилась небольшая загвоздка. Телефона нигде нет. Раз или два мне казалось, что я слышала слабый звонок где-то в доме, но не смогла понять, откуда исходит звук. Я спросила у Бога, не прятал ли он его от меня умышленно, дабы преподать мне какой-то моральный урок, но Он решительно ничего не говорил.

Немного грустя, я достала мобильный телефон из кармана сумки и включила его. Он мрачно запищал, поняв, что не может найти сигнал. Он был слишком далеко от дома. И я его прекрасно понимала.

Я подождала Эсти и Довида. Их не было целую вечность. Солнце уже было низко, и я не могла поверить, что к их появлению я уже начала замечать такие вещи и волноваться насчет наступления Шаббата. Я подумала, может, они ссорились, а потом решила, что, должно быть, один из них убил другого, как Каин и Авель.

Я много раз пыталась ссориться с отцом. С ним было сложно спорить. Он верил в тишину. С кем-то, кто верит в тишину, спорить не выйдет. Я могла кричать на него до боли в легких, и он не отвечал. Он слушал с видимостью внимания, а когда я заканчивала, через пару секунд он возвращался к своим книгам. Д-р Файнголд напоминает мне его, совсем чуть-чуть. Своей бархатной, мягкой тишиной и паузами после того, как я заканчиваю говорить.

А когда он все же говорил, это были сплошные аллегории и метафоры.

Когда мне было шестнадцать, за год до того, как я навсегда уехала из дома, он узнал, что я ходила в булочную, которую он не одобрял. Она не была некошерной, не дай Бог, в ней не было бекона, курицы с сыром или говядины с маслом. Там на стене висел сертификат о том, что раввин утвердил допустимость еды, которую там готовили. Но это не была одна из наших пекарен, наблюдающихся тем раввином, которому доверяли мы. Для такого небольшого народа, мы слишком любим подразделяться на еще меньшие группы. В любом случае, до моего папы дошли слухи, что я купила сэндвич с яйцом в той пекарне. Когда я пришла домой из школы, он подозвал меня в свой кабинет и спросил, правда ли это. У меня внутри все упало.

- Ты разве не знаешь, что мы там не едим?

Да, я знала. Он смотрел на меня, просто смотрел. И сказал:

- Я разочарован в тебе. Ты стоишь большего.

И тут я почувствовала пульсацию, давление изнутри головы и поняла, что кричу. Я не помню всего, что говорила. Но я знаю, что это было не о сэндвичах с яйцом. Помню, я сказала: «Неудивительно, что я так тебя ненавижу, ведь ты никогда не слушаешь!». А еще: «Жаль, что я не умерла, как мама!».

Он ничего не сказал. Он дослушал мой крик, а когда я закончила, вернулся к своей работе.

Это мама меня так назвала: Ронит. Это не обычное имя для места, где я росла, не типичное. Меня должны были назвать Рейзел, Ривкой или Рахели. Но моей маме понравилось это имя. Ронит. Радостная песнь ангелов. Иногда я об этом думаю; я могла бы поменять имя, когда переехала в Нью-Йорк и меняла все остальное, но я этого не сделала. Ронит: песня радости, голос восторга. Имя, которое дала мне моя мама.

Мне говорили, что мои папа и мама много смеялись вместе. Что они могли заставить друг друга смеяться в комнате, полной людей, только лишь посмотрев друг на друга. Мне не узнать, правда ли это. Я не помню ее и никогда не слышала, чтобы он сказал на эту тему хотя бы три слова подряд. Она была ноющей, недостающей частью нашей жизни, и мы никогда о ней не говорили.

На следующий день он рассказал мне историю Каина и Авеля, сыновей Адама и Хавы. Они поссорились в поле, и Каин убил Авеля. Но тот стих в Торе, в котором говорится, из-за чего они поругались, незакончен. Там сказано: «И Каин сказал Авелю, брату своему». Там не написано: «И говорил Каин с братом своим». В нем слово вайомер – «и сказал». Что-то должно последовать за этим. Но ничего нет. Следующее предложение: «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его».

Мой папа говорил: мы проходим через это молча. Даже Тора не вдаётся в подробности ссоры между родственниками. Даже Тора использует молчание. Из-за этого мне снова захотелось кричать на него. Сейчас я ненавижу пересматривать эти воспоминания. Как я кричала на этого тихого старика. И правда в том, что я поняла, что он имел в виду.

Как только Эсти с Довидом вернулись, и Эсти дала мне замерзший в холодильнике телефон, я позвонила Хартогу. Подняв трубку, он звонко хихикал, как будто только что услышал смешную шутку.

- Хартог, - сказала я.

- Мисс Крушка. Простите меня, мы с моей женой просто тут смеялись над...

Чумой? Мором? Потопом? Смертью невинных? Я почти произнесла это вслух.

- Ну, неважно. Как я могу Вам помочь, мисс Крушка?

Будто мы друзья. Рассудительные люди. «Хартог, парниша, - хотелось мне сказать, - почему бы нам просто не быть честными друг с другом? Ни один из нас не рассудительный человек».

- Я звонила, чтобы сказать... Вы победили, Хартог. Я знаю, Вы хотели, чтобы я уехала до хеспед. Без проблем. Я уезжаю, и даже раньше, чем Вы просили. Я уеду завтра ночью или в воскресенье. На целую неделю раньше.

Дрянь, мерзавец, жалкая сволочь.

На другом конце линии сделали вдох. Я представила, как он, ухмыляясь, торжественно объявлял что-то своей жене. Может, у меня паранойя.

- Ну же, ну же, мисс Крушка, не забывайте наш уговор. Как бы я ни был рад, что Вы так рветесь вернуться домой, я должен настоять, чтобы Вы остались до последнего дня перед хеспедом, как мы и согласовали. Я бы... - Он хрипло прокудахтал, как астматик. - Я бы не хотел, чтобы Вы раздумывали и захотели вернуться обратно.

- Конечно, я не...

- Нет-нет, мисс Крушка. Оставим первоначальный план. Хеспед в следующий понедельник. Вы улетите в воскресенье вечером. Только на борту самолета Вы получите свои вещи, не раньше. И только на борту самолета Вы получите чек. - Я почти слышала его тупую ухмылку. - Я уверен, мы друг друга поняли.

Я положила трубку и вслушалась в гудение дома или, возможно, в гул в собственных ушах. На кухне Эсти и Довид готовили еду на Шаббат. Вместе. Они негромко разговаривали.

Я подумала: я не могу здесь оставаться. Но и уехать я не могу. Не могу, если хочу деньги Хартога и вещи своего отца.

Эсти сказала что-то, из-за чего Довид засмеялся. Я и забыла, какой у него глубокий смех. Я не понимала, как это возможно: Эсти и Довид смеются вместе. Я снова подняла трубку и начала слушать гудок телефона.

Я подумала: мне не нужны его чертовы деньги и мешок безделушек. Единственное, что я хотела - подсвечники, а их я не нашла. Поэтому, в Нью-Йорк. В мою настоящую жизнь. В ту жизнь, которую я хочу. Я могу уехать и никогда не вернуться, я могу уехать завтра, вернуться на работу, на мою работу, которую люблю, которая у меня хорошо получается, которая вознаграждает меня за вложенный труд. Я могу позвонить Скотту, сказать ему, что я возвращаюсь в офис на следующей неделе, попрошу провести остаток своего «отпуска по семейным обстоятельствам» когда-нибудь позже, в теплом, солнечном месте.

Я набрала номер, и на черном телефоне, стоящем на деревянном столе, высветился британский номер. Телефон звенел. И звенел. И направил меня в голосовую почту. Я посмотрела на время. В Нью-Йорке одиннадцать часов. Скотт не должен быть сейчас не в офисе, да и не думаю, что его секретарша не подняла бы телефон в его отсутствие. Я набрала

снова.

В этот раз Скотт ответил спустя два гудка, рваным голосом и тяжело дыша, будто ему пришлось бежать к телефону.

- Привет, - сказала я, - это я.

- Я знаю, - сказал он. Пауза.

И за эту паузу, прежде чем он хоть что-то сказал, я все поняла. Я поняла, но не хотела признавать это.

Я спросила:

- Ну, как дела? – Что означало «Что не так?», только мне не пришлось это произносить.

- Слушай, Ронни, у меня есть только минута, ладно?

Я ничего не говорила.

- Ронни?

Он никогда не называет меня Ронни, только когда пьяный.

- Да, я здесь. Ничего, у меня тоже есть всего минута.

- Слушай, Ронни, - сказал он, как будто я не только и делала, что слушала. – Мы должны все закончить между нами.

Я изобразила звонкий и бодрый тон.

- Все и так кончено, Скотт. Или ты уже забыл, как бросил меня?

- Нет, я имею в виду, закончить насовсем. Послушай, - он вдохнул и сделал паузу, - дело в Шерил. В ту ночь, когда я приехал к тебе, она меня отследила. Чтобы посмотреть, куда я иду. Она поехала за мной на машине в халате.

Я представила Шерил, которую я никогда не встречала, которая существует для меня только как идеальная картинка, стоящая на столе. Я представила, как она в халате и тапочках ведет машину. Дикость.

- Если это не прекратится сейчас, она говорит, что хочет развод, и я... Ронни, прости. Мне пришлось сказать ей, что это ты, она не отставала от меня. Мы больше не можем работать вместе. Извини. Я не, в смысле, я сделаю так, чтобы ты не... Понимаешь?

Я не понимала. Я ничего не сказала. Эта ситуация, которая была такой легкой, такой блаженно простой и свободной от осложнений, неожиданно стала неясной и запутанной.

- Да, - сказала я. – Я понимаю. Не волнуйся. Я не вернусь в офис. Я увольняюсь.

И пока Скотт бормотал что-то о том, как он переживает, и что я не должна этого делать, и пока я заверяла его, что могу, потому что мне как раз попало более удачное предложение... Я поняла, что думаю только: «Да». Так и случается. Мы пожинаем плоды своих решений. Видишь? Все к этому и шло.

Я чудаковатая. Я знаю. Даже в Нью-Йорке, где все хоть немного евреи, я не очень вписываюсь. Ортодоксальный мир тесен; «бывших ортодоксов» совсем не много. Время от времени я встречала таких как я на вечеринках и мероприятиях. Люди говорят: «Ронит! Ты должна познакомиться с Трентом. Он вырос в Манси!». И вот этот Трент, выглядящий совершенно нормально, даже не скажешь, что он может прочитать Десять Заповедей на иврите или что-то такое. Я обычно избегаю этих людей. Иногда они злые. Те, которые ушли слишком быстро, которые убежали от религии, потому что считали, что она – корень всех их проблем, и теперь не знают, что делать с оставшимися. Иногда они не злые, но их истории очень трагичны: жестокость, безнадзорность, насилие – да-да, эти вещи тоже встречаются в нашей общине. Что-то заставило их отвернуться от всего, что связано с причинившим им

боль местом. И все эти люди, если мы разговоримся, и разговор пойдет о религии, неизбежно поделится своей историей побега и попросят меня рассказать свою. Как я выбралась? Это просто. Почему? А вот это не очень.

Когда люди только знакомятся со мной, они предполагают, что, раз мой папа был раввином, должно быть, была какая-то взрывная финальная сцена. Люди, которые знают меня чуть лучше, думают, что дело в моей довольно беспорядочной сексуальной жизни. Но, я прямо признаю, никто так и не услышал мою историю целиком. Так что, думаю, у меня все же есть что-то общее с папой.

Вот что случилось: ничего. Ничего и все сразу. Серия ссор насчет этого и того, начиная сэндвичей с яйцом и заканчивая подростковыми журналами, которые я приносила домой, и длиной моих юбок. Не думаю, что он когда-либо знал или хотя бы подозревал насчет нас с Эсти; его мозг не так работал. Но при всем этом Эсти изменила мои отношения с папой. С ней я начала кое о чем сомневаться. И сомневаясь в чем-то, я начала сомневаться во всем. Его ответы больше не удовлетворяли меня так, как в детстве.

Мы не ушли из жизней друг друга после вспышки ярости. Мы просто постепенно перестали разговаривать. Мы потеряли общий язык, а потом нам больше нечего было сказать.

А сейчас он мертв, и это все, чем он когда-либо будет. Тишина. Никакого последнего слова. Никаких финальных мыслей. Больше нечего толковать. Только тишина.

Я поняла, что все еще держу в руке телефон, будто ожидая, что Скотт снова появится на линии и скажет, что это была ошибка, и что моя жизнь сейчас не развалилась неожиданно и не превратилась в груды кирпичей, поскольку их никогда и не держал никакой цемент. Я положила телефон, Эсти зажгла свечи, наступил Шаббат.

В тот вечер я, Эсти и Довид сели и обсудили проблему. Вот так просто. Ну, не совсем, но что-то близкое к простоте, что-то по соседству с простотой. Вот как все было. Я объяснила свою ситуацию. Чтобы уехать, мне придется остаться. Чтобы иметь возможность несколько месяцев платить по счетам, пока я не найду новую работу, чтобы не сталкиваться со Скоттом и его бытовым несчастьем, в котором я виновата, мне придется взять чек Хартога и выполнить его просьбу. Они кивали и говорили, что, конечно, я могу остаться на сколько угодно.

После этого наступила пауза, и она затянулась; я смотрела на пол, а они – на меня. Подобному, наверное. Они смотрели на меня с состраданием. Я сказала:

- Эсти, тебе стоит уехать со мной в Нью-Йорк. Или просто уехать, куда-нибудь, но если хочешь, я могу тебе помочь.

Я сказала не совсем так. Я осторожно ходила вокруг да около. Это было совсем на меня не похоже. Но наконец я это сказала.

- Иногда, - сказала она, - я ни о чем другом и не думаю. – Она посмотрела на меня. – Я раньше мечтала, как приеду, найду тебя, знаешь. Однажды утром заявлюсь на твой порог с сумками и скажу: «Вот и я». Я раньше много об этом мечтала. – Я набрала дыхание и приготовилась что-то сказать, но она продолжила: - Хотя, забавно, но я никогда не мечтала, что ты приедешь ко мне. Почему-то в моих мыслях я всегда приезжала и искала тебя. Разве это не странно?

Я совсем не думала, что это странно.

Она сказала:

- Я думаю об этом. – И Довид кивнул, как будто он тоже думал о том, чтобы уехать.

Я сказала:

- Ты не можешь оставаться здесь. Не сейчас, после всего, что случилось. Слухи не прекратятся, Эсти. Может, ты думаешь, что сможешь их игнорировать, но это не так. Рано или поздно они разотрут тебя на мелкие кусочки. Ты должна уехать куда-то, где никто не будет шептаться.

- Возможно, - ответила она. – Может, есть и другой путь. Я еще не до конца его продумала. Мы с Довидом должны его обсудить. Оставайся на неделю. Возьмешь деньги Хартога. Синагога заработала эти деньги через твоего отца; они все равно принадлежат тебе.

Я заметила то, как она произнесла «мы с Довидом». Я не разобрала, что это значит. Как бы я ни посмотрела на эту фразу, она казалась абсурдной.

Я сказала:

- Знаешь, что меня бесит?

- Что? – спросила Эсти.

- Я не могу найти подсвечники. Это единственное, что я хотела здесь найти, и так и не нашла. Подсвечники моей мамы. Она каждый Шаббат зажигала в них свечи, когда я была маленькой. Это все, что я четко помню из детства. Она зажигала свечи, а я стояла рядом с ней на стуле и говорила браху вместе с ней. Они были огромные и очень блестящие; мы их чистили каждое воскресенье.

- Серебряные подсвечники?

Я кивнула.

- С листьями, почками и бутонами?

Я снова кивнула:

- Ты их помнишь. Они всегда стояли в коридоре с тех пор, как она умерла.

- Они были в его доме. Перед тем, как твой отец умер. Прости. Я должна была... Забыла. Они были в его доме.

Она встала и вышла из комнаты. Через две или три минуты вернулась с громоздким свертком в руках длиной где-то в полтора фута, перевязанным веревкой. Она неловко сунула его мне в руки. По весу, по тому, как оно было упаковано, еще до того, как я сняла обертку, я поняла, что это. Папа всегда так делал. Он хранил оберточную бумагу и веревки и использовал их по многу раз. Должно быть, он сам их упаковал. Эсти сказала:

- Твой отец давно отдал их мне. Он сказал, они должны остаться в семье, но если ты когда-нибудь попросишь их – они твои.

Я стянула веревку и коричневую оберточную бумагу – два, три, четыре слоя, пока наконец не нашла их. Почерневшие и матовые, но все равно знакомые. Гораздо более отвратительные, чем в моей памяти, не извилистые, а скорее неуклюжие, острые, нескладные, но тем не менее. Мамины серебряные подсвечники, которые папа передал Эсти для меня, если я их захочу.

===== Глава двенадцатая =====

Глава двенадцатая

Яков остался один. И боролся с ним некто до рассвета.

- Отпусти меня, - попросил он, - ибо взошла заря.

Но Яков ответил:

- Не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь.

Тот спросил:

- Как твое имя?

- Яков.

- Не Яковом будешь ты зваться впредь, а Израилем, ведь ты одолел ангела Божьего.

Берешит 32:25 – 29

История о битве Якова с ангелом, безусловно, смутная. В ней не говорится, почему ангел сражался с ним и как Якову удалось одолеть мощного Божьего посланника. Вот все, что нам известно: Яков получил новое имя, и в этом имени – наше предназначение.

Битва Якова с ангелом – не первое и не последнее подобное испытание. Разве Авраам не спорит с Богом, когда Он желает разрушить Содом и Гоморру? Разве Мойше оспаривает решение Бога разрушить сыновей Израиля? Неспроста Всевышний назвал нас упрямым народом – упертой, своевольной, непокорной расой.

Это наша территория. Мы стоим на границе, занятые постоянной борьбой. Мы – ничто, если не признаем правды. Не будем же отрицать просьб Всевышнего; не будем же сомневаться ни на мгновение, что Он требует от нас действовать и воздерживаться от некоторых действий. Он приказывает нам, чтобы мы не употребляли некоторую пищу, чтили Шаббат, святой день, омывали себя, если станем нечистыми – эти вещи просты. Может, их нелегко совершать или понимать, но они в пределах наших возможностей: ни отвратительны нашим умам, ни вредны нашим телам.

Но не станем отрицать, что среди многих вещей, которые Он просит выполнять, некоторые кажутся нам не только сложными, но еще и несправедливыми, нечестными. Неправильными. И в эти моменты мы не можем забывать, что и внутри нас есть голос, что и мы, как Авраам или Мойше, можем спорить со Всевышним. Это наше право. Сам факт нашего существования дает нам возможность иметь свободу выбора.

К трем часам дня первый этаж синагоги был заполнен людьми. Все стулья убрали с пола, людей все равно было больше, чем помещение могло в себя вместить. На самом деле, если бы не мехица – шторка, разделяющая комнату на мужскую и женскую половины, - степень толкотни была бы определенно неприличной.

В середине зала стояли два длинных стола, составленных вместе в форме буквы «Г». На нем были стопки сверкающих белых тарелок. Салаты - картофельный, капустный, огуречный, морковный, из трех видов бобов, из ячменя, марокканский, итальянский и вездесущий салат из помидора, огурца и перца. Была рыба: печеный лосось, жареные рыбные котлеты, сладкая и соленая селедка, треска и жареная камбала.

Многие женщины выстроились в очередь за рыбой. Хоть их внимание и было обращено на еду, но, наполнив тарелки, некоторые принялись болтать о вопросах синагоги или общины. Нагнувшись за гефилте фиш, миссис Бердичер заметила в адрес миссис Стоун, что Довид, как она слышала, будет произносить речь, и миссис Стоун ответила безупречно-белой улыбкой.

Мужчины в то же время собрались возле мяса. А какое было мясо! Жареные куриные крылья, куриные крылья на гриле, жареные куриные ножки, огромная тарелка куриных шницелей. Нарезанная индейка, утка, гусь. Вареная говядина и жареная говядина, маринованная говядина и копченая говядина. Печень, куриные сердца, мясной пирог, внутри которого была видна темно-розовая начинка, салями и болонская колбаса.

Менч говорил с Хоровицем, а Абрамсон – с Риглером. Правда ли это? Довид произнесет речь? Да, а как же. Они слышали это собственными ушами из его же уст или из уст того, кто

слышал это от него. А как же его жена? Да, они слышали, она предпочла бы уехать. Жаль, ужасно жаль, но, в конце концов, если она будет счастливее в другом месте, община не будет ее держать.

Возле стола с десертами – тортом с желе, шоколадной помадкой, шоколадным муссом со сливками (соевыми, разумеется!) – стоял д-р Хартог со своей женой. Они приветствовали гостей. Они улыбались и склоняли головы, чтобы выразить тихое принятие слов соболезнования, сказанных им. Как и десерты, сделанные не из молочных продуктов, Хартог и его жена были неотличимы от искренних людей.

Довид был наверху, в женской части помещения, и наблюдал, приподняв занавеску. Комната внизу была переполнена людьми, в особенности вокруг центрального стола. Пока что случилось только пару происшествий – разбитый стакан и столкнутое содержимое тарелки на пиджак одного мужчины. Он выделил знакомые лица и наблюдал за множеством, которых не знал, пытаясь сопоставить их с именами из списка гостей. Конечно, он видел Хартога, расхаживающего из стороны в сторону. Фрума была увлечена беседой с одним из работников кухни, хоть Довид и не мог представить, чтобы чего-то не хватало. Изредка до него доносились несколько слов – приветствие или имена. Голос Хартога был громче обычного, когда он объявил: «Даян Шехтер, Реббецин Шехтер, добро пожаловать!» и «Сэр Леон, Леди Бирберри, могу ли я предложить вам места?».

И он видел Ронит. Она была одета так, чтобы не задеть чувства даже самых религиозных из религиозных. Ее юбка была длиной до пят, а блузка закрывала шею и запястья. Наверх она накинула свободный, бесформенный кардиган. На ее голове, хоть она и не была замужем, красовался светлый парик с густой челкой. Парик был тоже довольно густым, так что ее лицо было едва видно. Довид улыбнулся. Никто бы не догадался, что это она.

Есть такое американское шоу – «Раскрытие величайших фокусов мира» или что-то вроде того. Возможно, оно называется «Как они распилили ту женщину пополам?». Не помню. Смысл в том, что это передача, в которой объясняются все эти трюки и фокусы, которые показывают по телевизору. Я люблю такие передачи, те, что показывают тебе, что на самом деле происходит на сцене. Наверное, мне просто нравится знать, что происходит на самом деле. И что меня всегда впечатляет, так это то, какими простыми оказываются объяснения. Я имею в виду, можно и самому догадаться, но ты бы никогда не подумал, что кто-то такое и вправду сотворит. Или наоборот – когда тебе говорят, что женщина не может поместиться в крохотном ящике, ты им веришь. Вместо того, чтобы проверить, не сможет ли очень худенькая женщина, подготовленная к нахождению в неудобном положении пятнадцать минут, правда там поместиться. Вот в чем дело. Если кто-то говорит тебе, что что-то невозможно, ты просто веришь.

Вот я к чему – теоретически, возможно зарегистрировать багаж на, скажем, трансатлантический перелет, пройти через паспортный контроль, помахать ручкой любимым людям (или ненавистным, что больше подходит по обстоятельствам) и все же каким-то образом не улететь вместе с самолетом. Просто нужна большая мотивация. И смелость бесстыдно выкрикнуть перед тремя сотнями незнакомцев: «Помогите, я только что поняла, что до ужаса боюсь летать и закрытых пространств, еды на пластиковом подносе и фразы “посадочный талон”». Итак, вполне возможно убедить слегка ненавистного работника синагоги в том, что ты кружишь на высоте тридцать пять тысяч футов, а на самом деле вернуться в Хендон. Правда, слегка охрипнув после такого крика. Но, говорю же, это

вопрос мотивации.

Комната казалась беззвучной. Хартог оглянулся со слегка озадаченным выражением лица. Довид улыбнулся: Хартог, наверное, искал его. Он спустится через минуту. Через пару. Он подождал. Хартог вызвал Киршбаума и Левицкого из толпы быстрым движением головы. Они переговорили шепотом. Трое мужчин озадаченно оглядели комнату, а потом пожали плечами и вздохнули.

Хартог подошел к микрофону.

- Дамы и господа, - сказал он, - уважаемые гости. Спасибо, что пришли сегодня на это мероприятие, посвященное жизни Рава Крушки, да будет благословлена его память.

Один за одним выходили и произносили речи самые уважаемые раввины страны – в основном, люди пожилые. Двое из них говорили на идише, а остальные на английском – у некоторых все еще был акцент, напоминающий, что они провели юности в восточной Европе. Они произносили слова утешения. Они произносили слова, которые люди хотели услышать, ожидали услышать. Они говорили о величии Рава, о его неустанной работе в интересах его общины и о том, как печален его уход.

Довид, слушая, понял, что вспоминает последние шесть месяцев жизни Рава. Он думал об утрах, когда просыпался от хрипящих звуков кашля. Он тихо стучал в дверь старика, заходил, и Рав, задыхаясь, поднимал руку в знак приветствия. Довид мягко стучал по его спине, остро чувствуя каждый позвонок под своей ладонью, пока не выходили мокрота и кровь. А потом он вытирал лицо Рава и сидел, держа его узловатую руку, пока тот восстанавливал силы. Он делал это не из уважения, не из-за качеств, обсуждаемых на хеспеде. Причина была ни в одном из этих вещей, хотя все это было присуще Раву.

У Довида немного болела голова – тонкий синий туман парил перед лицом. В кармане были таблетки, которые ему дала Ронит. Она, словно ребенка, отвела его к врачу. Доктор выписал ему таблетки. Все просто. Он еще не принимал их, но время от времени постукивал по коробочке в своем кармане, чтобы напомнить своей головной боли, что у него есть от нее средство. Пока что работало. Боль слушалась.

Пришло время. Было произнесено много слов. Настал момент речи Довида. Он репетировал ее с Хартогом несколько раз. Хартог все с ним обговорил. Довид поднимется на сцену и прочитает тщательно подготовленную речь о жизни и работе Рава, затрагивающую его семью и его великий вклад в общину. Они с Хартогом вместе написали ее. Речь была неплохая. В ней были красивые, трогательные мысли о силе духа и важности общины. Довид знал, что все присутствующие согласятся с тем, что Рав выбрал достойного наследника. Цель была достигнута.

Хартог становился все более и более взволнованным. Довид подумал, что Хартогу не пришло в голову посмотреть вверх. Почему-то эта мысль его позабавила.

Я слушала, как мужчина за мужчиной поднимаются на сцену и говорят о моем отце. С большинством из них я была знакома; может, они бы узнали меня, если бы я не сидела, опустив голову, и не притворялась скромной и порядочной еврейской женщиной. Я слушала, как они описывают человека, которого я никогда не знала.

- Рав был потрясающе умен, - говорили они. – Его мысли были мудры и ясны.

- Рав был очень уважаем, - говорили они. – Мы благоговели перед ним.

- Рав был удивительно добр, - говорили они. – Его сердце было наполнено любовью к

еврейскому народу.

Ну, может, это было и так. Понятия не имею.

Мне было четыре года, когда умерла моя мама. Достаточно рано, так что я никогда о ней не думаю. Но не настолько рано, чтобы этот факт не остался со мной навсегда.

Конечно, мне и не о чем думать. Что я могу помнить? Ощущение тепла, коричневую юбку и пару ног, ее смех, когда она говорила с кем-то по телефону, как она кормила меня супом из ложечки, когда я болела и лежала в кровати. Пару подсвечников. Миску маринованных огурцов. Бежевые туфли, которые она надевала на Шаббат.

Последствия я помню более четко. Траур, сидение на низкой скамье, как какие-то женщины гладили меня по волосам, одевали меня, кормили и, безусловно, были добрыми, но не были моей мамой, так что это было бессмысленно. Моему папе не было дела до этого, он не занимался едой и одеждой для меня; он занимался своей учебой. Эту задачу перенимала от женщин из синагоги домработница, а от нее другая, а потом еще одна.

Для моей мамы не устроили хеспед. Никакие высокоуважаемые мужчины не выстраивались в очередь, чтобы говорить о ней, и не было никакого банкета, чтобы увековечить ее память. Потому что женщина не может быть знатоком Торы, а только знаток Торы может быть раввином, и только раввин может быть удостоен хеспед.

Все эти вещи едва уловимые. Мы не терпим избиение жен, генитальные увечья или убийства. Мы не требуем покрытия с головы до пят, мы не запрещаем женщине выходить на улицу без сопровождения. Мы современны. Все, чего мы требуем – это чтобы женщины придерживались разрешенных для них территорий. Женщина скрыта, а мужчина публичен. Правильный образ действий для мужчины – речь, а для женщины – молчание.

Я долгое время доказывала, что это не так. Я долго настаивала на том, что никто не вправе говорить мне, когда говорить, а когда молчать. Так долго, что теперь и сама не знаю, хочу ли я молчать.

В другой жизни другая я пришла бы на хеспед, чтобы выполнить запланированную шалость – заставить Хартога страдать или как-то привлечь внимание к себе. Но я пришла не за этим. Я была там, потому что они меня попросили. Они что-то задумали. Я была им нужна.

- Дамы и господа, мы надеялись, что, э-э, мы ожидали, что Рабби Довид Куперман, племянник Рава, присоединится к нам сегодня, чтобы сказать пару слов. К сожалению, нам известно, что Рабби Куперман в последнее время неважно себя чувствовал...

Пора, подумал Довид. Если я хочу это сделать, момент настал.

Он приподнял шторку. Набрал дыхание. Толпа молчала. Ему не пришлось бы говорить слишком громко, но говорить очень тихо он тоже не мог. Он сказал:

- Я здесь.

Повернутые головы и изогнутые шеи. Подталкивание соседей локтем. Тихие смешки, когда люди увидели, что Довид стоит наверху, на женском портике. Некоторые неслышно поинтересовались, не запрещено ли ему там находиться. Это смешение казалось им чем-то ужасным и запрещенным.

Хартог, глядя на Довида, дико махал руками, указывая ему спуститься вниз.

Довид неохотно уступил. Он вернул шторку на место, сделал шаг назад и спустился вниз по лестнице в главное помещение, чтобы занять свое место на сцене. Когда он находился где-то между женским помещением и сценой, к нему кто-то присоединился. Довид поднялся

на сцену в сопровождении своей жены. Они держались за руку – правая рука Довида была в левой Эсти. Миг спустя к ним были прикованы несколько сотен злобных взглядов. Все, что волновало людей на тот момент – это их соединенные ладони. Вместе с Эсти Довид подошел к микрофону.

- Моя жена, - сказал он, - хотела бы произнести несколько слов.

Он отошел в сторону. Эсти подступила вперед. Их руки остались сцепленными. Это было важно. Если бы Довид отпустил ее руку и отошел вглубь сцены, люди начали бы бормотать возражения. Они бы спрашивали: «Что это?» и «Почему?». Они бы шептали гадости о ней. Но Довид и Эсти стояли вместе, пока она говорила.

- Речь, - сказала она. – Месяц назад Рав поделился с нами своими мыслями на тему речи. На тему ее важности, святости каждого слова, выходящего из наших уст. Он сказал нам, что своей речью мы подобны Богу. Так же, как Бог создал мир при помощи речи, мы создаем миры своими словами. Какой мир создали мы своими устами за прошедший месяц?

Зал был абсолютно тих.

- Вслушаться в слова человека – величайшая почесть для него. Вдуматься в них, порассуждать о них, обдумать их. Разве наши мудрецы не выражали уважение друг к другу путем споров, дискуссий, обсуждений слов друг друга? Именно это я сделаю сейчас – приму во внимание слова Рава.

Эсти посмотрела на свою руку, сцепленную с рукой Довида, а потом снова на людей. Сделав вдох, она продолжила.

- Когда-то у меня был с Равом один разговор. Мне было пятнадцать, и я сказала ему... - Она остановилась, как будто не знала, как приступить. – Я сказала ему, что у меня были неприличные желания. – Резкое гудение в зале, похожее на жужжание насекомого. – Я сказала ему, что мы с моей подругой, мой дорогой школьной подругой... - Она прервалась. Что бы за желания это ни были, казалось, для их описания не было слов. – Вы должны понимать, - сказала Эсти, - что я хотела вести себя подобающим образом, следовать пути Торы, соблюдать мицвот. Я попросила у Рава совета. Я сказала ему... - Сглотнув, она сделала еще один вдох и произнесла эти слова. – Я сказала ему, что желала другую женщину. И что она желала меня.

Триста человек со ртами, набитыми вкусной едой, поставили свои бокалы, положили салфетки и прекратили жевать.

Эсти продолжила мягким, размеренным тоном.

- Рав слушал с состраданием. Он сказал, что эта тема не удивила, не шокировала его. Он был добр и полон сочувствия. Он слушал меня с серьезностью; он понимал, что это были не детские фантазии. Он объяснил, что следовать таким желаниям запрещено. Это я уже поняла. Дальше он объяснил, что сами желания не запрещены. Это я понимала тоже. Он сказал, что мне стоит выйти замуж, если я смогу – за тихого мужчину, за мужчину, который не будет многого от меня требовать. За кого-то, кто слышит голос ha-шема в мире. За кого-то, кто способен на тишину. В этом Рав был прав. Да будет благословлена его память.

Триста человек испытали облегчение, услышав предложение, на которое знали, что ответить, и тихо пробормотали: «Да будет благословлена его память».

- Также Рав сказал, что я должна молчать о своих желаниях. Что не будет ничего хорошего, если я сообщу о них своему мужу или другим людям в общине. Он объяснил, что некоторые вещи нужно хранить в секрете, что о них лучше не говорить, что будет лучше для общины, если их никогда не будут обсуждать. Некоторые темы, сказал он, лучше не

выставлять напоказ. Рав был мудрым, добрым человеком, знатоком Торы. Во многих вопросах его понимание было весьма глубоким. Но насчет этого вопроса он был неправ. Да будет благословлена его память.

По залу снова прошла волна согласия с этими словами, в этот раз уже не такая уверенная.

- Речь, - сказала Эсти. – Дар творения. Бог создал мир при помощи речи, поэтому наша речь тоже способна создавать. Рассмотрим на секунду Божье творение. Он сказал, и появился мир. Если бы Бог ценил тишину превыше всего, Он никогда бы не сотворил мир при помощи слова. Если бы он ценил в своих созданиях только тишину, Он никогда бы не дал некоторым из них возможность говорить. Наши миры сильны. Наши слова реальны. Однако это не значит, что мы должны всегда молчать. Вместо этого мы должны оценивать свои слова. Мы должны использовать их, как и Всевышний, чтобы создавать, а не чтобы разрушать.

Она приостановилась, слегка улыбнувшись.

- Некоторые хотели, чтобы я уехала. Некоторые испытывали отвращение от одного моего присутствия, жили в страхе перед теми вещами, которые обо мне говорят. Мы не должны бояться слов, мы не должны бояться открыто говорить о правде. Вот почему я говорю об этом сегодня. Я не боюсь сказать правду. Я желала то, что для меня запрещено. Я все еще желаю этого. И все же я здесь. Я слушаюсь заповедей. Это возможно, - Эсти улыбнулась, - пока я делаю это не молча.

Вот чем Нью-Йорк отличается от Лондона. В Нью-Йорке на этом бы все закончилось. Когда Эсти прекратила говорить, вместе с Довидом сошла со сцены, когда они ушли из зала, это был бы конец мероприятия. Были бы буйные аплодисменты, или злобные выкрики, в общем, что-то громкое и драматичное.

Но, поскольку мы в Британии, этого не было. На минуту или две наступила тишина. Шепот, поджатые губы, закатанные глаза, а потом мероприятие просто продолжилось как ни в чем не бывало, и начали выступать другие гости. Это достойно и восхищения, и ненависти одновременно. Бесстрастный отказ от драмы – это еще и неспособность серьезно, с глубиной, реагировать на серьезные вещи. Следующие полчаса были доказательством – если доказательство вообще требовалось, - того, что мы говорим о себе неправду. Существует миф – многие из нас в него верят, - что мы – странники, на нас не влияет место, где мы живем, и мы внимаем только заповедям Бога. Это вранье. Эти британские евреи – настоящие британцы: они неловко бродили, глядели на свои ноги и пили чай.

При этом была парочка отрядных реакций. Хинда Рохел Бердичер и Фрума Хартог посмотрели друг на друга поверх персикового и абрикосового пирогов на десертном столе. Я наблюдала за ними из другого конца зала, из-под этого дурацкого парика. Хинда Рохел старательно изображала спокойствие. Фрума была белой, еще белее, чем обычно. Хинда Рохел предложила отрезать ей кусок пирога. Фрума отказалась, плотно сжав губы, как ребенок, которого пытаются кормить из ложечки. Хинда Рохел положила руку на плечо Фрумы. Фрума стряхнула ее и сказала – я прочитала это по ее губам даже издали: «Не трогай меня».

Ерунда, но меня позабавило.

А потом Хартог. Должна признаться, я почти собралась подойти к нему и заговорить, раскрыть себя. Мой наряд, как и любая одежда вообще, о чем-то говорил. По нему было

видно, что я пришла не ради себя, а ради Эсти и Довида, потому что они меня попросили. Потому что таким способом они хотели помириться с моим отцом и со мной, с нашим прошлым. Эсти нашла эту одежду в каких-то еврейских магазинах на Голдерс Грин. Так вот, я раздумывала над тем, чтобы в конце хеспеда, когда все будут расходиться, подойти к Хартогу, показаться ему и сказать... «Что ж, я все равно пришла, мудака. Что будешь делать теперь?». Я не хотела дать ему даже эту победу, даже возможность думать, что ему удалось от меня избавиться.

Итак, когда толпа начала рассеиваться, я направилась к нему. Еда была съедена, речи прочитаны. Люди спешили домой, бормотали между собой что-то насчет Эсти, но намного больше – про отличную еду, замечательные выступления, про правильность такого мероприятия в заслугу Рава. Да, мы не любим торопиться. Ни ортодоксальные евреи, ни англичане. Я определила Хартога в лобби и зашагала в его направлении. Я все еще думала, что, возможно, заговорю с ним, но, подойдя ближе, я поняла, что это желание ослабело. Этого было достаточно. Что-то изменилось. Настолько, насколько что-то вообще могло измениться. Я с удивлением обнаружила, что не хотела сталкиваться с ним.

Я прошла прямо мимо него. На нем была натянута его фальшивая улыбка, и он смотрел на уходившую толпу, не глядя ни на одного человека в особенности, даже на тех, кто пожимал ему руку. Когда я прошла мимо, он совершенно меня не заметил. Но я немного повернула голову и оглянулась. Его рука тут же потянулась к лицу: я подумала, он узнал меня и собирается позвать меня или просто скрывает удивленный возглас. Нет. Он приплюснул ладонью собственный нос, убрал руку и посмотрел на нее. Кончики его пальцев были красными. Засунув руку в карман, он извлек мятый носовой платок и попытался вытереть им струйку крови, стекающую из его носа, как будто его только что ударили в лицо.

===== Глава тринадцатая =====

Глава тринадцатая

Совершенствовать мир – не твое задание, но и не справа ты воздерживаться от него.

Пиркей Авот 2:20

В Талмуде есть одна история. Мы знаем, что каждое слово в Талмуде – правдивое слово Бога, следовательно, эта история также правдива.

В ней рассказывается про то, как несколько раввинов спорили насчет какого-то глубокого вопроса касательно закона. Один из них, Рабби Элиэзер, категорически не соглашался с остальными мудрецами. После длинной дискуссии он наконец сказал: «Если закон таков, как утверждаю я, пусть это рожковое дерево докажет это!». И рожковое дерево вырвалось из земли с корнем. Но мудрецы сказали: «Рожковое дерево не может ничего доказать».

И Рабби Элиэзер сказал: «Если закон таков, как утверждаю я, пусть эту струя воды докажет это!». И струя полилась в обратную сторону. Но мудрецы сказали: «Струя воды не может ничего доказать».

Тогда Рабби Элиэзер сказал: «Если закон таков, как утверждаю я, пусть стены этого дома докажут это!». И стены дома прогнулись внутрь. Но Рабби Йеошуа упрекнул их: «Когда мудрецы дискутируют, какое право вы имеете вмешиваться?». Из уважения к Рабби Йеошуа стены не упали, но из уважения к Рабби Элиэзеру они не вернулись на свое первоначальное место. Так они и стоят погнутые по сей день.

И Рабби Элиэзер сказал: «Если закон таков, как утверждаю я, пусть Небеса докажут

это!»). С Небес послышался голос: «Почему вы не согласны с Рабби Элиэзером, так досконально знающим закон?». Рабби Йеошуа встал и сказал: «Не божественный голос с Небес устанавливает закон, потому что в Торе написано, что господствует мнение большинства». И мудрецы последовали мнению большинства, а не мнению Рабби Элиэзера.

Из этого мы учим, что не Небесам решать наши жизненные трудности, что мы не должны пытаться разгадать таинственные знаки и чудеса. Мы учим, что наш собственный выбор наиболее ценен, даже если Бог говорит, что наш выбор неправилен. Мы учим, что мы можем спорить со Всевышним, не повиноваться его заповедям и по-прежнему услаждать его своими действиями. Мы учим о милосердии Всевышнего, которое шире, чем мы можем представить.

Ведь на этом история не заканчивается. Мы читаем, что позже Рабби Натан встретил во сне пророка Элияху. Он спросил у пророка: «Что сделал Всевышний, когда Рабби Йеошуа сказал, что не Небесам устанавливать закон?». И Элияху ответил: «Всевышний посмеялся и сказал: “Мои дети победили меня”».

Бог дал нам этот мир, Он дал нам Тору. И, как хороший родитель, как любящий отец, Он с радостью отпустил нас на волю. Не Небесам творить закон.

На кладбище собралась небольшая толпа – из сорока или пятидесяти человек, намного меньше, чем на хеспед. Прошел год со смерти Рава, и пришло время поставить надгробие там, где покоится его тело. Церемония проста; она не продлится долго.

Ронит вернулась в Хендон по этому случаю. Она смотрит вверх, на бледно-голубое утреннее небо с белыми и серыми полосами, и думает о том, как всего лишь днем раньше она летела на самолете. Это было утром. Когда самолет пролетал над Атлантическим океаном, ей приснился странный сон, но она, скорее всего, не станет никому о нем рассказывать. Это только между ней и утром.

Она держит младенца, которому почти три месяца. Они назвали его Мойше – в честь ее отца. Она еще не решила, представляет ли для нее какую-то фрейдистскую важность тот факт, что она держит малыша, названного в честь ее отца, но она об этом не переживает.

Эсти и Довид стоят на каком-то расстоянии друг от друга и оба смотрят прямо, а не друг на друга, как будто в каком-то момент могут понять, что подошли слишком близко к незнакомцу, и отойти друг от друга. Но они остаются вместе, и когда Эсти делает шаг вперед, Довид следует за ней. Наблюдая за ними, Ронит думает о тех парах, которые остаются в браке, даже если один из партнеров меняет пол или сходит с ума. Она знает, что есть в этом что-то покровительственное, но пытается с этим смириться.

Эсти тоже наблюдает за Ронит. Она думает о том, что Ронит кажется чем-то меньшим, чем раньше. Она не стала чем-то меньшим, Эсти знает это, но раньше она казалась чем-то слишком большим. Когда-то Эсти думала, что в лице Ронит – весь мир, а сейчас это всего лишь лицо. Она благодарна за это, благодарна за эту перемену, потому что больно видеть целый мир в лице, не принадлежащим тебе, всегда отворачивающимся от тебя.

В лице Довида она тоже не видит целый мир, но она понимает, что это лицо лучше, чем казалось. Он добр и имеет удивительно хорошее чувство юмора. Это далеко не все, но этого достаточно, чтобы этот путь не был неприятным для нее. Она думает, что, будь у нее возможность сделать выбор снова, вернуться на много лет назад, она все равно выбрала бы то же самое. Она в этом абсолютно уверена. Эсти понимает, что также она уверена насчет многих других вещей, как будто в ее сознании рассеялся туман. Она часто удивляется этой

мысли: все хорошо. Все хорошо.

Конечно, кажется, будто за год все прояснилось. За год небольшая толкотня в животе превращается в младенца – крохотного, с ясно-голубыми глазами и хваткими ручками. За год могила заново обрастает травой. За год горе перестает быть таким глубоким; то, что когда-то шокировало, становится привычным; то, о чем говорили постоянно, становится неинтересным.

Спустя годы все кажется таким простым. Но человеческая жизнь идет не по годам, а медленно, день за днем. Год, может, и прост, но дни, несомненно, трудны.

Итак, прошел год. Могила Рава заросла травой, а сын Эсти и Довида шуруется от осеннего солнечного света. Но год не был легким. Были те, кто ушел из синагоги Рава: некоторые - с шумом и в суматохе, другие – тихо и незаметно, посреди двух Шаббатов. Был шепот, и был крик. Эсти и Довида реже, чем раньше, приглашали на Шаббатные трапезы. Некоторые – правда, их было не так много, как Эсти и Довид опасались, - придумывали отговорки тому, почему избегают их. О них все еще сплетничают в Хендоне, но не так часто, как когда-то.

И все же все хорошо. Некоторые вещи вполне возможны. Некоторые навечно останутся невозможными. Но в пределах того, что возможно, можно жить. Оставшиеся в синагоге люди начали ценить работу Эсти и Довида. Эсти произносит речь на церемонии по установке надгробия, что уже случалось несколько раз за прошедший год. Пару простых слов возле могилы Рава – и все. Присутствующие улыбаются и благодарят ее за ее мысли.

Эсти и Довид купили телескоп. С наступлением темноты, когда ребенок засыпает, они ставят телескоп у открытого окна спальни и по очереди наблюдают за лунными кратерами. Они находят далекие звезды и называют друг другу их имена, например, Арктур или Ригель, словно это тайный сигнал. Сигнал означает: я все еще здесь.

Прошлой ночью мне приснилось, будто я лечу над Хендоном. Вокруг меня был ветер, как и надо мной, и подо мной, и в моих легких. А еще ниже был Хендон. Сначала я увидела его сухие улицы с одинаковыми тюдоровскими домами. Я видела встроенные шкафы, я видела семьи с двумя машинами, я видела работы в бухгалтерии и юриспруденции. Я видела наиболее кошерные кухни, самые длинные юбки, самые плотные колготки, самые плотно сидящие шейтелы. Я видела изучение Торы и исполнение мицвот. И я видела сплетни, клевету и публичное унижение.

Я сказала:

- Господи, почему Хендон так бесстрастен? Почему в нем не может быть желаний или отчаяния, горя или радости, чудес или загадок? Всевышний, - спросила я, - почему это место не может просто жить?

И Всевышний ответил:

- Мое дитя, если Я пожелаю этого, оно будет жить.

И я увидела, как Он приподнял крышу каждого дома, словно рукой сильной и мышцей распростертой. И по очереди говорил с каждым человеком в каждом доме, наполняя их сердца Своим светом. А я наблюдала. Когда Он закончил, ничего особо не изменилось. Я просила?

- Господи, что все это значит?

И Он ответил:

- Моя дитя, моя радость, перемены не происходят мгновенно, ведь этот народ упрям и

непослушен, но по крайней мере они готовы слушать.

Ронит остается в Лондоне на пять дней. Она спрашивает о Хартоге, которого не было на церемонии по установке надгробия, и узнает, что он перешел в другую синагогу. Конечно, Хартогу всегда будет куда пойти. Сейчас Довид – раввин, хотя этот титул не приносит ему удовольствия. «Зовите меня Довидом», - говорит он приходящим к ним гостям. Некоторых беспокоит эта неформальность, они предпочитают порядок и привычную им строгость. Они называют его Рабби, и он не возражает. Они все равно продолжают приходить к ним. Иногда они приходят увидеть Эсти, а не его. Всем известно, что она отлично умеет слушать.

Ронит возвращается в Нью-Йорк. В самолете она читает книгу своего отца и, хоть некоторые места и безмерно ее раздражают, она рада, что это сделала. Она обсуждает своего отца с д-ром Файнголд, и та предлагает ей вспомнить и оценить все хорошее в их отношениях, а также понять, что ни один родитель не способен дать ребенку все необходимое. Ронит думает, не это ли имеется в виду в заповеди чтить родителей. Решает, что, наверное, нет, но ее это не волнует. Она сделает то, что сможет, а остальное неважно.

Она пришла к осознанию, что существует крохотный участок, где пересекаются здравый смысл и фундаменталистская религия. Она пробует хоть немного там находиться. Она нашла новую работу, где ей не приходится находиться в одном офисе с женатым мужчиной, с которым она раньше спала. Насчет этого здравый смысл с религией согласились. И иногда она делает что-то такое. Только если хочет. Устраивает трапезу на Шаббат, зажигает свечи в тех самых огромных подсвечниках. Иногда даже молится. Правда, сама она называет это «сказать Богу пару слов».

Она едет в отпуск в южные штаты и удивляется тому, как много неба видно оттуда, стоит ей только поднять голову. Она думает о том, что небо всегда на одном и том же месте, куда бы ты ни пошел. Ты можешь смотреть на него, можешь не смотреть, но что бы ты ни делал, оно никуда не уйдет и останется на своем месте – красивым и светлым. Как ни странно, эта мысль ее успокаивает.

Я много думала об этих двух идентичностях: быть лесбиянкой и быть еврейкой. У них много общего. Во-первых, ты не выбираешь это. Если ты такая, с этим ничего не поделаешь. Кто-то может это отрицать, но даже если ты только «немного лесбиянка» или «немного еврейка», этого достаточно, чтобы называть себя таковой, если хочешь.

Во-вторых, и то, и другое невидимо. Что весьма интересно. Потому что, пусть ты и не выбираешь, кем быть, ты выбираешь, что показывать, а что нет. У тебя всегда есть выбор – открыться или скрывать. Каждый раз, когда ты встречаешь кого-то нового, ты принимаешь решение. Всегда есть выбор: практиковать или нет.

«Практиковать» означает множество вещей. Для каждого что-то свое. Практиковать можно каждый день, а можно изредка. Но если ты никогда не практикуешь, ты никогда не узнаешь, что это могло для тебя значить. Ты никогда не узнаешь, кем, возможно, являешься. Не практикуя, тебе будет неловко заявить о своей идентичности: если она не играет роли в твоей жизни, в чем смысл о ней говорить? Конечно, она никуда от этого не денется. Никогда. Но если ты не практикуешь, она никогда не сможет изменить твою жизнь.

Если честно, в нашем мире, наверное, проще не практиковать. Легче вписаться. Если тебе это нужно. Лично я никогда не стремилась вписываться.

Итак, я пришла к выводу. Я не могу быть религиозной еврейкой. Этого во мне нет и

никогда не было. А не быть тоже не могу. Что-то из этой жизни неистово зовет меня вернуться, и, думаю, никогда не перестанет. Кажется, не очень похоже на вывод, но у меня другого нет. Д-р Файнголд называет это «научиться простить себя». Я называю это «принять, что ты не всегда получишь ответ на каждую свою просьбу». Иногда достаточно сказать: «Может, я к этому приду, а может, и нет».

Несколько дней назад мне приснился еще один сон. Я была в каком-то ресторане на улице, вокруг росли деревья и кусты. Я обедала с каким-то мужчиной старше меня – он немного напоминал мне моего папу. Мы просто болтали, смеялись, и тут официант принес винное меню. Я глянула на меню и сказала:

- Знаешь что? Я буду кальвадос.

И этот мужчина, наклонившись, потряс головой и сказал:

- Ты же знаешь, что тебе нельзя.

Я подмигнула ему и сказала:

- Я могу сама принимать решения. Все будет нормально. Посмотри и увидишь.

Он ответил:

- Ну смотри, ты не можешь знать наверняка.

И я подняла бокал, наблюдая за тем, как свет преломился через янтарную жидкость. Я осушила его за один раз. Напиток был теплым и вкусным, как и все запрещенное. Я поставила бокал на стол и сказала, приподняв бровь:

- Ничего не случится. Я в это верю.

И он запрокинул голову и рассмеялся.